№12(634)·1969

РОМАН ГАЗЕТА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

БЛОКАДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ВЫШЛИ В СВЕТ

И. А. ГОНЧАРОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ. Серия литературных мемуаров под общей редакцией В. В. Григоренко, С. А. Макашина, С. И. Машинского, Б. С. Рюрикова. Вступительная статья А. Д. Алексеева. Л. 1969. 320 стр. 82 к.

МЕХТИ ГУСЕЙН. Апшерон. Схватка. Перевод с азербайджанского. Вступительная статья Мирзы Ибрагимова. М. 1969. 488 стр. 1 р. 04 к.

ПАУЛЬ КУУСБЕРГ. Второе «я» Энна Кальма. Роман. Перевод с эстонского И. Кононова. Предисловие Юрия Розенблюма. М. 1969. 272 стр. 66 к.

З. ЛИБИНЗОН. «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. («Массовая историко-литературная библиотека»). М. 1969. 134 стр. 18 к.

И. ЛУ-ЮХАНССОН. Только мать. Перевод со шведского Е. Семеновой и С. Фридлянд. Предисловие А. Погодина. М. 1969. 104 стр. 1 р. 48 к.

ГАБИТ МУСРЕПОВ. Солдат из Казахстана. («Народная библиотека»). Повесть. Перевод с казахского Степана Злобина. Вступительная статья З. Крахмальниковой. М. 1969. 240 стр. 36 к.

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ. Повести и рассказы. Предисловие Е. Осетрова. М. 1969. 496 стр. 95 к.

ОСМАН САРЫВЕЛЛИ. Мой век. Избранные стихи. Перевод с азербайджанского. Вступительная статья А. Кронгауза. М. 1969. 50 к.

МИКОЛАС СЛУЦКИС. Лестница в небо. Роман. Авторизованный перевод с литовского З. Куторги. Вступительная статья А. Бучиса. М. 1969. 280 стр. 66 к.

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№12(634)
1969
ИХЛ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

БЛОКАДА

РОМАН

(Окончание)

...Еще две недели назад Васнецов не представлял себе, что война разразится так скоро.

Подобно миллионам советских людей, он совсем недавно прочитал в газетах сообщение ТАСС. В коротких и категорических выражениях — в них угадывался стиль Сталина — оно опровергало утверждения иностранных корреспондентов о концентрации немецких войск на советско-германской границе как злонамеренные и провокационные.

В сообщении говорилось, что Германия неуклонно выполняет свои обязательства, вытекающие из советско-германского пакта, и слухи о ее намерении напасть на СССР лишены всякого основания.

Все это не только не соответствовало тревожной атмосфере, в которой жила страна, но и шло как бы вразрез с теми призывающими к бдительности и боевой готовности директивами, которые систематически приходили в обком из ЦК.

Васнецов спросил Жданова, как следует толковать это заявление ТАСС.

Спокойно и методично Жданов разъяснил Васнецову, что оно преследует две цели: во-первых, успокоить возможные опасения Германии, — западная буржуазная печать, втайне все еще надеясь натравить на нас Гитлера, регулярно публикует ложные сведения о том, что СССР собирается начать превентивную войну. Во-вторых, оно, это заявление ТАСС, направлено на то, чтобы побудить Германию выступить с аналогичным документом относительно СССР.

Разъяснение звучало убедительно, и в течение нескольких дней после разговора с Ждановым Васнецов с особым вниманием читал сводки иностранной печати и радиоперехваты финских и немецких передач в надежде увидеть ожидаемое сообщение германского правительства.

Но никакого заявления не последовало. Казалось, что в Германии вообще не заметили сообщения ТАСС.

Васнецов больше не задавал Жданову вопросов на эту тему, ибо каждый такой вопрос, в какой бы форме он ни был поставлен, неизбежно отражал бы не только предположение Васнецова, что публикация не достигла своей

цели, но, следовательно, и сомнение в целесообразности заявления вообще.

А позволить себе высказать такое сомнение Васнецов не мог. Хотя по положению своему он был одним из ближайших сотрудников Жданова, между ними все же существовала огромная дистанция, поскольку Жданов был членом Политбюро и секретарем ЦК.

Партийная дисциплина или, точнее, «партийная воспитанность», как она понималась в те годы многими ответственными работниками партийного аппарата, заключалась и в том, чтобы «не лезть» в дела, входящие в компетенцию высшего руководства страны.

Предполагалось — да и сам Васнецов считал именно так, — что всех, кого надо, проинформируют обо всем в необходимом объеме и в надлежащее время. Проявлять же чрезмерную инициативу, самовольно пытаясь расширить сферу своей информированности, не следует. Это могло бы дать повод ЦК неверно истолковать его поведение. А сама мысль об этом была противна всему характеру Васнецова.

И вовсе не потому, что он боялся каких-либо неприятных для себя последствий — хотя на глазах Васнецова, случалось, рушились судьбы людей, которые, как считалось, переоценивали значение своей личности и лелеяли честолюбивые мечты. Нет, дело было не в боязни. Просто доверие ЦК Васнецов ценил превыше всего и, потеряв его, потерял бы то, что считал главным в своей жизни.

Поэтому во время последующих разговоров с Ждановым Васнецов уже не возвращался к заявлению ТАСС от 14 июня. Тем более что директивы, приходившие из ЦК и после этой даты, требовали все большего усиления бдительности, хотя и с обязательной оговоркой о необходимости соблюдать полную секретность проводимых мероприятий, дабы не дать повода для провокаций. Именно во исполнение этих директив составлялись и пересматривались мобилизационные планы крупнейших предприятий города, его наиболее важных центров — таких, как обком, горком, Радиокомитет, телефонный узел, телеграф, — уточнялись перечни оборонных мероприятий райкомов и низовых партийных комитетов, а в повестку дня заседаний бюро горкома все чаще включались сообщения руководителей штаба местной противовоздушной обороны.

Членам бюро горкома было хорошо известно и то, что аналогичные, требующие боевой готовности директивы приходили и в штаб Ленинградского военного округа из Наркомата обороны. Именно во исполнение одной из таких директив руководители округа и выехали две недели назад в пограничные с Финляндией районы, чтобы провести инспекцию войск и тактические учения, потому что, согласно логике вещей, именно оттуда, с Севера, только и мог грозить Ленинграду, отдаленному от западных рубежей страны, потенциальный противник.

И тем не менее до вчерашнего дня он, Васнецов, с трудом представлял себе реальность надвигающейся войны.

И не только потому, что заявление ТАСС все же оказало на него определенное психологическое воздействие.

И не только потому, что ЦК разрешил Жданову уехать в отпуск и, следовательно, не опасался военных событий, по крайней мере в ближайшее время...

Было еще одно, психологическое, но весьма важное обстоятельство, способствующее убеждению, что внезапно война не начнется: в сознании, скорее даже в подсознании, Васнецова, как и десятков тысяч других стоящих на переднем крае социалистического строительства людей, самим ходом истории укоренилась мысль о всемогуществе Сталина.

Факты, неопровержимые факты, размышлял Васнецов, вот уже на протяжении многих лет убеждали его в том, что жизнь в стране вопреки прогнозам маловеров — уклонистов и оппозиционеров — развивалась именно так, как было предначертано партией, ЦК, Сталиным.

Вот уже долгие годы страна развивается в мирных условиях, давая сокрушительный отпор отдельным попыткам извне проверить ее мощь. Сталин выиграл долгую, годами длившуюся передышку, — он оказался прав.

Сталин сказал, что единственная возможность по-настоящему обеспечить безопасность страны заключена в создании мощной индустриальной базы, — «иначе нас сомнут».

И опять-таки маловерам казалось невероятным, невозможным решить эту титаническую задачу, не имея достаточного количества квалифицированных кадров, без финансовой помощи извне.

Но она в основном была решена менее чем за десять лет.

Нельзя успешно строить коммунизм, имея в стране два уклада: мощную социалистическую индустрию и раздробленное, частнособственническое, мелкотоварное сельское хозяйство, — и Сталин поставил задачу его коллективизации.

И снова нашлись люди, которым эта задача казалась невыполнимой, во всяком случае — в обозримый период времени.

Однако сплошная коллективизация сельского хозяйства стала непреложным фактом. И на этот раз Сталин доказал свою правоту...

Нет, Васнецов видел в Сталине не просто человека, наделенного непререкаемой властью, личность, чья железная воля заставляла людей идти в указанном им направлении.

Такая оценка Сталина, характерная для тех, кто не имел ничего общего с марксизмом, показалась бы ему нелепой.

Васнецов был уверен, что сила Сталина заключается в его даре научного предвидения, в способности находить единственно правильные решения в самой сложной, еще неясной другим людям ситуации.

И когда Васнецов размышлял о возможности войны, эта уверенность автоматически направляла ход его мыслей по привычному руслу.

Если войны можно избежать, говорил себе Васнецов, то Сталин сумеет сделать это. Если ей, несмотря на все принятые меры, суждено разразиться, то Сталин опять-таки будет знать об этом в нужный момент и своевременно укажет партии, народу, что и когда делать.

Так размышлял Васнецов. И хотя мысли эти не рождались в его сознании в столь элементарно-логическом порядке, тем не менее они создавали своего рода защитный барьер. И другая, казалось бы, бесспорная мысль — о том, что в любой войне сталкиваются две силы и одна из них неподвластна даже Сталину, — уже не могла сквозь этот барьер пробиться.

...Но сегодня, на рассвете 22 июня 1941 года, эта непривычная мысль на какое-то время овладела сознанием Васнецова.

Он гнал ее, убеждал себя в том, что уже самое ближайшее будущее наверняка докажет, что Сталин и на этот раз был прав, что он и теперь все предусмотрел и скоро, может быть уже через несколько часов, наглый враг будет разбит и отброшен...

Перед его глазами встали эпизоды из недавно виденного кинофильма, заслужившего высокую оценку в газетах: небо, почти невидимое за эскадрильями самолетов с красными пятиконечными звездами на крыльях, комбриг на командном пункте, читающий радиодонесение: столица врага, который вчера посмел начать войну против Советского Союза, обращена в руины...

Ему стало легче на душе.

— Так и будет! — убежденно сказал вслух Васнецов, услышал свой голос и повторил, на этот раз уже про себя: «Так и будет!..»

Он посмотрел на часы. Через пятнадцать минут соберутся члены бюро.

Васнецов снял трубку телефона прямой связи со штабом округа. Знакомый голос начальника на этот раз звучал хрипло, точно простуженный.

— Как положение? — коротко спросил Васнецов.

— Бомбят Ригу, Либаву, Каунас и Вильнюс, — с трудом скрывая волнение, ответил начштаба.

— А наши? — нетерпеливо прервал его Васнецов.

— Что? — переспросил генерал.

— Я вас спрашиваю о наших войсках! — громко, почти грубо крикнул Васнецов.

Ответом ему было молчание.

— Вы слышите меня? — еще громче произнес Васнецов. — Я спрашиваю, каково положение наших войск?

— Войска Прибалтийского округа ведут упорные бои, — не сразу ответил генерал.

Теперь умолк Васнецов. Потом он тихо произнес:

— Так... — и добавил уже обычным своим ровным, спокойным голосом: — Через пятнадцать минут состоится заседание бюро. Вы можете приехать?

— Так точно, — поспешно ответил генерал, — буду в пять ноль-ноль.

Васнецов повесил трубку. Потом встал и подошел к столику у стены, на котором стоял радиоприемник. Повернул верньер. Раздался мягкий щелчок, зажглась зеленая лампочка, освещая шкалу, откуда-то, точно из другого мира, послышался постепенно нарастающий гул. Затем он превратился в ровный, мягко гудящий фон, и на нем раздались громкие, отчетливо произнесенные слова:

— ...рыбаки Охотского моря досрочно выполнили месячный план улова рыбы. Начиная с понедельника труженики моря — дальневосточники будут работать уже в счет июльского плана. Но сегодня у них уже в разгаре воскресный день. Тысячи рыбаков со своими семьями заполнили сады и парки...

Васнецов наклонился к приемнику. Горькая мысль о том, что страна еще не знает о несчастье, которое на нее обрушилось, пронизала его сознание, но тут же исчезла. Другая мысль целиком захватила его. Ведь этот голос, эти слова звучали из вчерашнего, еще мирного дня, они были как бы границей времени, разделенного на две части, и Васнецову на мгновение почудилось, что время остановилось и еще не настало сегодняшнее, страшное утро.

А диктор все говорил и говорил... Он произносил обычные, ставшие уже привычными слова, но для Васнецова они звучали сейчас как исполненные глубокого, незабываемого смысла.

Он еще ближе прильнул к радиоприемнику, хотя слышимость была отличной, и жадно ловил, точно впитывал в себя все то знакомое, будничное, мирное, о чем сообщал диктор...

Потом он порывистым движением выключил радиоприемник.

И сразу услышал через открытое окно звуки пробуждающегося города: редкие гудки автобусов, дребезжащие звонки трамвая...

И никто из тех людей, что ждали трамвая на остановке, кто ехал в автобусах, никто из тех, кто быстрыми шагами шел по тротуару, спеша на работу, — никто еще ничего не знал о нависшей над каждым из них опасности.

Эта мысль неожиданно поразила Васнецова своей трагичностью, и ему стало неимоверно тяжело, что он, один из тех, кому верят и на кого полагаются эти люди, не может ничего

сделать для того, чтобы опасность прошла стороной, не коснулась их...

Раздался громкий звонок аппарата ВЧ — междугородной правительственной связи.

Васнецов бросился к нему с тайной, подсознательной надеждой, что этот звонок несет за собой нечто новое, важное, дающее всем событиям надлежащий ход.

Он схватил трубку, назвал свою фамилию и по первому же произнесенному на другом конце провода слову понял, что говорит секретарь ЦК.

В это время в кабинет стали один за другим входить вызванные члены бюро.

Васнецов внимательно слушал голос в трубке, время от времени односложно говоря: «Так... ясно... так...» — и предостерегающе поднимал палец, когда в комнату входил очередной участник предстоящего заседания.

Наконец он повесил трубку, тяжелым взглядом обвел уже рассевшихся за длинным столом людей и сказал:

— Товарищи, сегодня в двенадцать часов по радио будет объявлено, что началась война. Решение о мобилизации уже принято. Кроме того, в восьми республиках и шестнадцати областях и краях, включая Москву и Ленинград, объявляется военное положение. ЦК предлагает нам немедленно приступить к выполнению плана оборонных мероприятий. Андрей Александрович возвращается в город.

В двенадцать часов дня Молотов по поручению ЦК и правительства произнес короткую речь. Ее транслировали все радиостанции Советского Союза...

И полдень 22 июня стал началом нового исторического периода в жизни миллионов советских людей.

С этого момента все то, что случалось раньше в жизни страны, семьи или отдельного человека, вспоминалось с обязательной приставкой: «До войны...»

«До войны», «во время войны», «после войны» — этим словам было суждено войти в обиход на целые десятилетия.

Но в тот жаркий июньский полдень, когда на тысячах площадей и улиц, в миллионах домов, в корабельных радиорубках, в шлемофонах летчиков звучала исполненная горечи и тревоги речь о нападении врага, люди еще не думали о том, как долго им предстоит воевать.

Их мысли, их чувства находились в те минуты под всеохватывающим влиянием одного непреложного факта: враг напал на Советский Союз, война началась. И только три фразы звучали в их ушах уже после того, как закончилась речь: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

...Заседание бюро закончилось относительно быстро, уже в семь часов утра секретари горкома, заведующие отделами разъехались по городу — на предприятия, в воинские части, каждый в соответствии с возложенными на него поручениями.

Из руководителей в Смольном остался один Васнецов — для поддержания связи с командованием округа и Москвой, но через два часа после того, как в эфире прозвучало правительственное сообщение, выехал в город и он.

Прежде всего Васнецов хотел объехать несколько райвоенкоматов, чтобы убедиться в их готовности приступить к мобилизации военнообязанных — объявления об этом ждали с минуты на минуту.

Ближайший к Смольному военкомат располагался на соседней улице.

Васнецов еще издали увидел очередь посредине квартала, там, где помещался продовольственный магазин, — большая вывеска. «Бакалея» была хорошо видна из окна машины. «Вот и первое следствие войны», — с горечью произнес он про себя и подумал, что введение карточной системы будет, очевидно, неизбежным.

Однако Васнецова ожидало радостное разочарование. У входа в магазин действительно толпились люди, но очередь осаждала соседнюю дверь, заслоняя собою маленькую вывеску райвоенкомата.

«Но как же так, — с недоумением, с облегчением, с радостью подумал Васнецов, — ведь приказ о мобилизации еще не объявлен!»

С трудом, под неодобрительные возгласы из очереди, он пробился в маленькую приемную военкомата, по лестнице, также сплошь забитой людьми, кое-как протиснулся на второй этаж, где помещался кабинет военкома.

Двое красноармейцев стояли у двери, с трудом сдерживая натиск. Васнецову пришлось назвать себя, прежде чем его допустили к военкому.

Пожилой майор в хлопчатобумажной гимнастерке, на которой проступали пятна пота, сидел за столом, заваленным стопками бумаг. Увидев Васнецова, он поспешно встал и с отчаянием в голосе проговорил:

— Что делать, товарищ Васнецов? Голова кругом идет. Полторы тысячи заявлений только за два часа!

— Думаю, что надо радоваться, — начал было Васнецов, но военком прервал его:

— Да, но приказ-то еще не объявлен! Что делать, как отвечать? — Он махнул рукой на стопы листков, лежащих на столе. — Тут ведь и стар и млад! И люди призывных возрастов, и подростки, и совсем старики! Нет, посмотрите!

Он пошарил в одной из стоп, вытащил листок бумаги, бросил на него взгляд и протянул Васнецову. Тот прочел написанные химическим карандашом торопливые строки:

«Я участник революционных боев 1905 года. Бил Юденича в 1918-м. Участвовал в граж-

данской в качестве командира пулеметного взвода. Прошу немедленно призвать на действительную военную службу...»

— Но ведь это же здорово! — воскликнул Васнецов, возвращая листок военкому.

— Что здорово-то, что? — воскликнул военком, выхватил листок из рук Васнецова и бросил его на стол. — Вы знаете, сколько этому пулеметчику лет? Семьдесят девятого года рождения он — понимаете? Давно снят с учета!

— Надо было ему разъяснить...

— Что разъяснить, — с отчаянием снова прервал военком, — он тут такой тарарам устроил!

За дверью раздался шум, который перекрывали отдельные выкрики.

— Слышите, товарищ Васнецов, — жалобно произнес майор, — и все только к военкому! Минуя отделы! Им кажется, что я их тут же вооружу и пошлю на фронт. Людей в помощь мне надо, иначе зашьемся! Я уже три раза горвоенкому докладывал — не меньше десяти человек мне надо, чтобы этот поток расшить!

— Хорошо, товарищ майор, постараюсь помочь, — спокойно, но в душе испытывая необыкновенное удовлетворение от только что услышанных слов, ответил Васнецов.

...С трудом пробившись к выходу, Васнецов сел в машину и дал шоферу адрес еще одного военкомата. Там происходило то же самое. Сотни людей осаждали двери. Тут были и юноши, и девушки, и старики. Васнецов не стал заходить в военкомат, понимая, что ему придется выслушать те же жалобы и те же требования. Он приказал шоферу ехать в ближайший райком партии. Секретаря райкома не было на месте, дежурный доложил, что тот с утра уехал на предприятия.

Васнецов связался по телефону с горвоенкоматом. Военком ответил, что принимаются все возможные меры, не позже чем через час военкоматы получат необходимые пополнения, и добавил, что, по предварительным данным, в течение первого часа после сообщения по радио о начале войны в военкоматы поступили тысячи заявлений от добровольцев.

В бодром, приподнятом состоянии вышел Васнецов из здания райкома, сел в машину и сказал шоферу:

— На Кировский, Коля.

Эти слова прозвучали так громко и даже лихо, что шофер с осуждением посмотрел на него и спросил:

— Чему радуетесь, Сергей Афанасьевич?..

Но Васнецов, казалось, не расслышал его вопроса...

XIII

Они стояли на перроне Белокаменского вокзала — Вера и Анатолий.

Прошло десять дней с тех пор, как он заболел. И все это время Вера провела у его постели. Из Ленинграда ее бомбардировали телеграммами. Она отвечала: «Заболела, ничего серьезного, на днях выезжаю». Родственники сердились, требовали, чтобы Вера немедленно возвращалась к родителям, не волновала их. Она не поехала. Дни и почти все ночи проводила у постели Анатолия.

Через неделю он почувствовал себя лучше. Днем позже попробовал встать. На десятый день они решили ехать. Анатолий дал телеграмму родителям, что возвращается. Вера с вечера купила билеты и тоже послала телеграмму домой. Родственники попрощались с ней сухо. И вот Анатолий и она стоят ранним утром на перроне в ожидании поезда.

Казалось, он мало в чем изменился, этот маленький, тихий дощатый перрон. Только стены вокзала теперь покрывали приказы, объявления и плакаты.

Приказ о всеобщей мобилизации. О военном положении. О затемнении. Объявления о новом порядке продажи билетов на поезда, о расположении ближайших бомбоубежищ. Плакаты: «Смерть фашизму!», «Разгромим врага!»

Но в остальном все, казалось, было по-прежнему. Не спеша шел по путям вагонный мастер в лоснящейся спецовке с масленкой в одной руке и длинным молотком в другой. Поодаль одиноко сидели на своих чемоданах несколько пассажиров. Уже взошло невидимое отсюда солнце, и безоблачное небо было ослепительно-голубым.

Вера и Анатолий тоже присели на свои чемоданы.

— Как будто и войны нет, — задумчиво сказала Вера.

— Ну, до войны отсюда далеко! — преувеличенно бодро ответил Анатолий.

— Как ты себя чувствуешь, есть температура? — спросила Вера, протягивая руку ко лбу Анатолия.

Он недовольно отстранился и сказал:

— Оставь! Кто сейчас думает о температуре?

— А о чем ты сейчас думаешь?

— Нелепый вопрос! О том, чтобы скорее добраться до Ленинграда и явиться в военкомат. Я должен был это сделать гораздо раньше.

— Но ты был болен! У тебя есть документ.

— Прекрасное объяснение! — раздраженно передернул плечами Анатолий. — «Где вы были, когда началась мобилизация, товарищ Валицкий?» — «А я, видите ли, болел. Не вовремя искупался в речке. Вот документ, посмотрите...»

Он был зол на всех: на Веру, из-за которой приехал сюда, на болезнь, которая продержала его в постели, и, главное, на себя.

Ему было горько и стыдно за то, что он не был одним из первых, нет, самым первым из

тех, кто явился в военкомат в то воскресенье, едва услышав речь Молотова.

Ему казалось, что и те, сидящие в отдалении пассажиры, и даже сама Вера с чувством недоумения, смешанного с жалостью, смотрят на него — рослого, здорового парня в гражданском пиджачке, в ботинках, на которых засохла так и не очищенная прибрежная грязь и тина.

А Вера думала совсем о другом — не о своей судьбе, мысли о ней просто не приходили ей в голову, — а о том, что же, что же теперь будет...

Она понимала: свершилось нечто огромное, небывалое, то, о чем ей всегда напоминали, о чем предупреждали из года в год в речах, статьях, книгах, в песнях и кинокартинах... И следовательно, жизнь теперь должна измениться, стать какой-то другой, не похожей на прежнюю... Какой именно, Вера представить себе не могла, но сознавала, что по сравнению со всем этим ее личная судьба столь малозначительна, что нелепо даже думать о ней.

Еще совсем недавно, слушая рассказы о финской войне, Вера старалась как бы «примыслить» себя к ней, представляя себя на фронте.

Но теперь она думала о других: о матери, об отце, об Анатолии, — не о его беспричинных, бессмысленных, как ей казалось, угрызениях совести, но о том, что ему предстоит, о его дальнейшей судьбе. Все прошедшие дни, ухаживая за больным Анатолием, Вера просто не имела времени для размышлений. Разумеется, она, как и все, жила мыслями о войне, ежеминутно ожидая новых сообщений, прислушиваясь к радиоголосам, доносящимся из укрепленной на стене соседней комнаты черной тарелки-репродуктора...

И все же она не думала о войне «конкретно», она ощущала ее просто как огромное, не поддающееся осознанию несчастье, обрушившееся на все то, что составляло ее жизнь.

Анатолия же беспокоило другое. Война не воспринималась им как нечто грозное, таящее для всех такие последствия, которые сейчас еще невозможно разгадать. Анатолий просто не думал об этом. Все его мысли вытеснила одна: горькое ощущение, что то самое событие, о возможности которого столько писалось и говорилось, с которым связывались понятия мужества, героизма, преданности, наконец произошло, а он, Анатолий, оказался в стороне.

Он думал не о предстоящих тяжелых испытаниях, неизбежно связанных с войной, не о возможности смерти, которая в каждой войне незримо стоит за спиной любого фронтовика, и не о том, что война разлучит его с Верой.

Он страдал оттого, что на нем не было военной формы, и от опасения, что по прибытии в Ленинград кто-нибудь из друзей, уже носящих эту форму, может встретить его в таком сугубо гражданском виде.

В линии своего дальнейшего поведения Анатолий не сомневался, она была для него ясна: военкомат, фронт. На мгновение он вообразил, как будет плакать мать. Как будет вести себя отец, Анатолий представить себе не мог. Разумеется, старик не снизойдет до слез — сентиментальность была ему чужда. И все же интересно, как будет реагировать отец, подумал Анатолий. В конце концов ему до сих пор ни разу не приходилось провожать сына на смерть.

Анатолий в первый раз мысленно произнес это слово «смерть», не придавая этому понятию никакого значения, однако испытывая чувство мрачной гордости.

Он украдкой взглянул на Веру. Как странно все получается, подумал он, какой-нибудь год назад ему и в голову не могло прийти, что Вера будет именно той девушкой, которой предстоит провожать его на войну. Он знал, что Вера влюблена в него без памяти. Сознание этого возвышало Анатолия в его собственных глазах. Он представил себе Веру, стоящую на перроне вокзала, у поезда, который через несколько минут повезет его туда, на запад. И ему стало ее жалко. Он представил себе этот поезд — такой, какие видел на киноэкранах, в фильмах, посвященных войне, — бесплацкартные и товарные вагоны, набитые красноармейцами, табачный дым, звуки гармошки, плачущие женщины на перроне..

Он окунется в новую, сулящую опасности и подвиги жизнь. Останется ли в ней место для Веры?.. Едва ли.

И все же ему стало жалко ее. Жалко и обидно, что именно она видела его в течение этих десяти дней в таком беспомощном состоянии.

Скорее бы в Ленинград! Теперь уже недолго ждать.

— Через пятнадцать минут поезд, — сказал Анатолий, бросая взгляд на свои ручные часы.

— Да, еще пятнадцать минут, — повторила Вера, тоже взглянув на часы.

По перрону медленно шел странный человек. На нем был серый больничный халат, из-под которого виднелись белые кромки кальсон, заправленных в носки, военная пилотка. Правая его рука висела на марлевой перевязи.

Он шел, внимательно оглядываясь по сторонам, а когда поравнялся с Толей и Верой, неожиданно спросил:

— Слушай, кореш, где здесь пивной ларек торгует?

У него был хриплый голос.

— Что? — переспросил занятый своими мыслями Анатолий.

— Что, что! — передразнил его человек в халате. — Пивом, спрашиваю, где торгуют? Ребята говорили — тут на вокзале ларек есть.

Анатолий хотел было резко ответить, что сейчас не до пива, но, вдруг встретившись с

ним взглядом, с внезапной отчетливостью понял, что перед ним раненый и что он прибыл оттуда, с войны.

— Вы... с фронта? — поспешно спросил он.

— От тетки с блинов приехал, — грубо ответил человек, и по его скуластому, небритому лицу пробежала гримаса.

— Ну как, бьем фашистов? — снова спросил Анатолий, и голос его прозвучал как-то залихватски и в то же время заискивающе.

— Пока что они нас бьют, — ответил человек и сплюнул.

Анатолию захотелось осадить этого неприятного типа, явного паникера, но, еще раз взглянув на его перевязанную руку, он спросил вопреки намерению растерянно:

— Но... почему же?

— Тебя, браток, на фронте нет, в этом вся причина, — щуря глаза в оскорбительной, злой улыбке, ответил человек в халате, снова сплюнул и пошел дальше, шаркая по доскам своими явно не по размеру большими тапочками.

Вера увидела, как бледное, исхудавшее лицо Анатолия мгновенно залилось краской. Она возмущенно крикнула вслед удаляющемуся человеку в халате:

— Раз не знаете, то не говорите!

Это прозвучало глупо, даже жалко.

Человек обернулся, несколько мгновений смотрел на Веру иронически оценивающим взглядом и сказал равнодушно:

— Ладно. Держись за своего... забронированного.

...Тем временем народу на перроне прибавилось. Появилось несколько военных, женщины с тюками, перевязанными веревками и ремнями, мужчины с портфелями...

А поезда все не было. Прошло уже минут двадцать с тех пор, как он должен был прибыть. Люди стояли на перроне и пристально вглядывались туда, где рельсы, казалось, сливались в одну едва различимую линию, в надежде увидеть дымок паровоза.

Но поезда все не было.

...И вдруг мне захотелось, чтобы этот поезд не приходил как можно дольше. Ведь пока не пришел поезд, для нас с Толей как бы еще продолжается старая жизнь, а потом мы поедем в новую — неизвестную и тревожную, в которой уже не будем вместе.

Я вспомнила, как еще совсем недавно сидела в своей «мансарде» и размышляла, люблю я Толю или нет. А сейчас подобный вопрос показался бы мне лицемерным и глупым. Потому что за эти дни по-настоящему поняла, как я его люблю. Как это нелепо, обидно, что по-настоящему начинаешь любить человека только тогда, когда боишься потерять его!..

А поезда все не было.

Поезд пришел только под вечер. А люди на белокаменском перроне, которые в мирное время вошли бы в свои вагоны спокойно и без суматохи, ныне, измученные долгим ожиданием и чувствуя, что сломан обычный, привычный порядок их жизни, ожесточенно бросились к ступенькам вагонов, создавая толчею и нервную суматоху.

Вера и Анатолий кинулись было к плацкартному вагону, но на верхней ступеньке лестницы стоял проводник и, придерживая за своей спиной ручку закрытой двери, кричал, что мест в вагоне нет.

Анатолий тоже что-то кричал в ответ, размахивал билетами, но потом понял, что это бесполезно, и потащил Веру к другому вагону.

Наконец им удалось втиснуться в общий, битком набитый людьми вагон.

Они влезли последними — перед ними на ступеньки взобрался какой-то энергичный тип в габардиновом плаще, с небольшим чемоданом в руках. Он даже слегка оттолкнул Анатолия, который помогал Вере взобраться на высокую вагонную ступеньку.

Когда они втиснулись наконец в вагон, свободных мест уже не было. Даже на верхних, багажных полках лежали люди. Но не это поразило Анатолия и Веру. Каждому из них приходилось ездить в переполненных вагонах.

Нет, этот поезд отличался чем-то другим. Оттого ли, что в вагоне не зажигали света и царил полумрак, из-за того ли, что тесно прижатые друг к другу люди вели себя как-то необычно тихо, или по каким-то иным признакам, которых ни Анатолий, ни Вера еще не осознали, но они вдруг оба почувствовали, что вступили в преддверие незнакомого им мира — мрачного, молчаливого и тревожного.

Прошло несколько минут, люди «осели», «притерлись», как всегда бывает после посадки, и проход освободился. Анатолий пошел вдоль вагона в поисках свободных мест, но опять убедился в том, что все занято. Он вернулся к Вере. Они остались стоять у двери, ведущей в тамбур, на самом проходе, и проводница, пожилая женщина со свернутыми, засунутыми в кожаный футляр флажками в руке, сказала, чтобы они проходили дальше и приткнулись куда-нибудь.

Анатолий довольно резко ответил, что в вагоне нет мест, но проводница оборвала его, сказав, что «вагон общий и места тут ни для кого не бронированные», а потом посоветовала поставить вещи под одной из полок, а самим пристраиваться «как знают», только не стоять у двери.

Анатолий пошел по проходу, держа свой и Верин чемоданы перед собой, стараясь не задеть за торчащие с полок ноги уже улегшихся людей. Наконец он наобум спросил какого-то расположившегося на одной из нижних полок

мужчину, не разрешит ли тот поставить чемоданы под его полку, услышав в ответ короткое «валяйте», стал запихивать чемоданы и только тогда заметил, что на полке устроился тот самый тип в габардиновом плаще, который опередил его при посадке. Он так и лежал, не снимая плаща, положив голову на чемоданчик.

Анатолия взяло зло. Если бы не этот нахал, у них с Верой была бы полка. А теперь им предстоит всю ночь простоять в проходе.

Он сказал, обращаясь к Вере:

— Становись вот здесь, у окна, Верочка. Гражданин настолько любезен, что разрешает поставить вещи под его полкой.

Слова «гражданин» и «разрешает» Анатолий произнес подчеркнуто иронически.

Поезд тронулся. И уже через минуту раздался чей-то недовольно-требовательный мужской голос:

— Проводница, почему свет не дают?

На него зашикали, кто-то рассмеялся коротким, невеселым смешком.

— Света не будет, не в мирное время едем!

— Тоже мне... игрушки... — пробурчал первый голос, — в войну играют... Фронт за тысячу километров отсюда, а они...

Стук колес заглушил голоса.

Анатолий и Вера стояли в проходе, у покрытого пылью оконного стекла. Было нестерпимо душно. Анатолий попытался было открыть окно, но проходившая в это время по вагону проводница сказала:

— Окна не открывать. Не разрешается.

— Черт знает что... — раздраженно произнес Анатолий, — света не зажигать, окна не открывать... В самом деле в игрушки играют... будто фронт рядом. Заставь дураков богу...

— Ну раз такое правило, Толя, — примиряюще прервала его Вера.

Он умолк.

За окном в полумраке промелькнули последние домики Белокаменска, деревянная будка стрелочника, начался лес.

Вера думала о том, что совсем недавно она вот так же стояла у окна, и все это — дома, будка, лес — проплывало перед ней, только в обратном порядке.

Но тогда и лес, и будка, и дома были залиты летним солнцем и выглядели светлыми и радостными, а теперь все, что было там, за вагонным стеклом, казалось Вере чужим, тревожным, полным скрытой опасности.

Она отвернулась от окна и тихо спросила Анатолия:

— Как ты себя чувствуешь, Толя, голова не болит?

— А... что там голова... — раздраженно ответил Анатолий.

— Скоро мы будем дома... — сказала Вера просто для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, да. Не пройдет и семи часов стояния на ногах, и мы будем дома, — зло согласился Анатолий.

— Но... ведь никто не виноват, Толя, что же поделаешь, — сказала Вера и дотронулась до его руки.

Ему вдруг стало стыдно. Он сжал ее руку и сказал:

— Ты прости меня. Просто я злюсь на себя. Так все глупо, нелепо получилось. Эта дурацкая болезнь, этот набитый поезд... Вместо того чтобы быть сейчас там...

Он замолчал.

— Девушка может сесть, — раздалось неожиданно за его спиной.

Анатолий резко обернулся. Это сказал тот самый тип в габардиновом плаще. Теперь он уже полулежал, подперев голову рукой и свесив ноги на пол.

— Спасибо, обойдемся без вашей любезности, — едко ответил Анатолий.

— А я вас и не приглашал, — сухо сказал, не меняя позы, человек.

— Спасибо, спасибо, — поспешно вмешалась Вера, — только мы уж вместе. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь.

— Любезность надо было проявлять при посадке, — не унимался Анатолий, — не толкаться, как... — он запнулся, подыскивая слово, — как на базаре... На фронте бы проявляли активность...

Эта последняя фраза вырвалась у Анатолия неожиданно для него самого.

— Насколько могу судить, вы еще тоже не вышли из призывного возраста, — раздался спокойный ответ.

— Это не ваше дело, — буркнул Анатолий.

— Разумеется, — равнодушно согласился человек в плаще.

Затем он неожиданно встал, поставил свой чемодан ребром к стенке, сел рядом, положив руку на чемодан, и сказал:

— Садитесь оба.

— Мы уже ответили вам, что... — начал было Анатолий, но сидящий оборвал его тоном приказа:

— Я сказал: садитесь. Места хватит.

Неожиданно вспыхнул узкий пучок света. Оказалось, что у этого человека в руке карманный фонарик. Он осветил освободившееся пространство на полке, потом бесцеремонно скользнул лучом по Анатолию и Вере и выключил свет.

— Сядем, Толя, — тихо и примиряюще сказала Вера, — раз товарищ предлагает... — и добавила уже совсем шепотом: — Ведь всю ночь ехать...

...Теперь они сидели на полке втроем: человек в плаще, Вера и Анатолий. Он расположился на самом краешке, как бы показывая, что не хочет иметь никакого дела с этим типом.

Они сидели молча. На противоположной

полке спала, положив под голову свой узел и укрывшись пальто, женщина.

Взошла луна. Ее не было видно из окна, только лес, тянущийся по обе стороны железной дороги, перестал казаться таким мрачным, и деревья стали различимыми. В вагоне тоже стало светлее.

Было тихо; одни улеглись спать, другие молча сидели в проходе на чемоданах.

На Веру эта тишина, нарушаемая лишь стуком колес, действовала угнетающе. Она опустила голову и попробовала задремать. Но сон не шел. Ей очень хотелось пить.

Человек в плаще глядел вполоборота в окно, по-прежнему облокотившись на свой чемодан. Теперь Вера могла разглядеть его профиль. У него было худое лицо, кожа обтягивала острые скулы. На вид ему было лет сорок.

Неожиданно он обернулся к Вере, полез в карман и вытащил оттуда большое яблоко.

— Хотите? — спросил он, протягивая яблоко Вере.

— Нет, нет, что вы... — забормотала она и украдкой взглянула на Анатолия. Он сидел неподвижно, низко опустив голову, и как будто дремал.

— Берите, — сказал человек в плаще по-прежнему своим сухим, безразличным голосом, положил яблоко Вере на колени и снова отвернулся к окну.

Она взяла яблоко, снова посмотрела на Анатолия и откусила кусочек. Яблоко было сочное, и Вера еще сильнее ощутила жажду. Она стала торопливо есть.

— Студенты? — неожиданно спросил, не оборачиваясь, сосед.

— Да, — тихо ответила Вера.

— Ленинградцы?

— Да.

— Как зовут?

В его коротких, сухих вопросах одновременно звучали и властность и равнодушие. Он по-прежнему не глядел на Веру.

Она ответила:

— Вера.

Добавила нерешительно:

— А его — Анатолий.

И спросила просто так, из вежливости:

— А вас?

— Кравцов, — коротко произнес человек в плаще.

На этот раз он обернулся. Теперь Вера могла разглядеть его лицо, жесткое, неприятное, с тонкими, плотно сжатыми губами, со шрамом над правой бровью.

Вера доела яблоко и теперь держала в руке огрызок, не зная, куда его деть.

— Давайте сюда, — неожиданно сказал Кравцов, дотрагиваясь до Вериной руки. Она почувствовала, что у него сухие, холодные пальцы.

Он взял огрызок и запихал его в пепельницу, прикрепленную к стене у окна.

— На каникулы ездили? — спросил Кравцов, и в голосе его Вере на этот раз послышалось нечто похожее на иронию.

— Да, — ответила она.

— Неподходящее время, — не то осуждающе, не то с сожалением заметил Кравцов.

— Что же поделаешь? — поспешно ответила Вера. — Просто так получилось. Он, — она снова украдкой взглянула на неподвижно сидящего Анатолия, — он заболел. Вот мы и задержались. Воспаление легких.

— Муж?

— Нет, что вы! Просто мы... ездили вместе...

— Понятно, — коротко заметил Кравцов.

— Вера, давай поменяемся местами, тут больше воздуха, — неожиданно и каким-то деревянным голосом произнес Анатолий и встал.

Вера почувствовала, что покраснела. Поведение Анатолия показалось ей невежливым, бестактным, однако она покорно встала. Они поменялись местами.

Теперь Анатолий сидел между Кравцовым и Верой, сидел неподвижно, глядя на противоположную стенку, всем своим видом подчеркивая, что по-прежнему не хочет иметь со своим соседом по вагонной скамье никакого дела. Все молчали, слышался только стук колес.

Через некоторое время Кравцов положил руки на укрепленную под окном полочку и, казалось, задремал.

— Толя, — шепотом сказала Вера, — зачем ты так? Ты же обидел человека!

— Переживет, — передернул плечами Анатолий и добавил: — Нашел время... заигрывать...

— Какая глупость! — все так же шепотом сказала Вера, недовольно отодвинулась от Анатолия и посмотрела на Кравцова, чтобы понять, услышал ли он его слова. Но тот, казалось, и в самом деле заснул.

— Вера, — тихо сказал Анатолий, подвигаясь к ней, — не сердись на меня!

Она молчала.

— Я знаю, что веду себя глупо, — продолжал шепотом Анатолий, — но пойми меня... Мне очень обидно... очень горько... Мне кажется, что все смотрят на меня как на... ну, как на уклоняющегося, понимаешь?.. И тот раненый, на перроне... Ведь он презирал меня! И был прав. Я забыть его не могу... Уже больше недели идет война, а я... Тебе, наверно, стыдно за меня?

Он говорил тихо, почти шепотом, запинаясь, но в голосе его звучали боль и обида.

Вере стало жалко его. Она взяла его руку, прижала ладонь к своей щеке и заговорила, торопясь и сбиваясь:

— Нет, нет, Толенька, что ты? Как ты мог даже подумать такое! Ведь я знаю, это из-за ме-

ня все произошло, только из-за меня, я была дура, глупая, недотрога, но это потому, что я люблю тебя, так люблю, что даже сказать не могу, и всегда боялась потерять тебя, только сказать этого не могла, мне стыдно было, а только я всегда боялась, с той минуты, когда мы познакомились, тогда, на лодке, помнишь?..

Она понимала, что говорит не то, что нужно, что все это сейчас, когда идет война, не ко времени и ее слова звучат так, будто она все еще живет в старом, добром и светлом мире, а ведь завтра они, может быть, уже расстанутся, и самое главное теперь в том, чтобы он остался жив, а все остальное уже не важно и об этом смешно, глупо говорить...

Она почувствовала, что Толина ладонь, которую она все сильнее и сильнее прижимала к своей щеке, стала мокрой, и только тогда поняла, что плачет.

— Вера, Верочка, ну не надо, не плачь, — повторял Анатолий, и в голосе его тоже звучали слезы. Он вытирал ладонью ее лицо, а другой обнимал, прижимая к себе, и они забыли обо всем — о битком набитом полутемном, наполненном табачным дымом вагоне, о людях кругом, которые, может быть, видят их и слышат...

И в этот момент где-то рядом раздался оглушительный взрыв. Вагон резко качнуло, за окном вспыхнуло пламя, на мгновение осветившее все в вагоне нестерпимо ярким светом, раздался пронзительный, завывающий, точно штопором ввинчивающийся в уши звук, что-то дробно, градом застучало по крыше вагона, зазвенели осколки разбитых окон.

Поезд остановился внезапным, сильным толчком, грохот падающих с полок вещей, крики людей — все это слилось воедино, и снова где-то совсем рядом раздался взрыв...

— Из вагона! Быстро! Все из вагона! — раздался чей-то громкий, повелительный голос, и Вера, уже пробираясь среди загромождавших проход чемоданов и тюков, влекомая крепко держащим ее за руку Анатолием, поняла, что это был голос Кравцова.

Они пробирались к выходу среди обезумевших от страха людей, в их ушах звучал детский плач, заглушаемый каким-то новым, страшным, гудящим, никогда не слышанным раньше звуком, добрались наконец до тамбура, где другие, напиравшие сзади вытолкнули, выбросили их наружу...

Анатолий и Вера упали, покатились вниз с высокой насыпи, а рядом бежали, падали и тоже катились люди, а над ними, вверху, в низком небе, что-то нестерпимо громко гудело...

И уже там, под насыпью, лежа в липкой грязи, Анатолий и Вера увидели, как горят охваченные языками пламени вагоны.

— Вера, Вера, бежим! — задыхаясь, кричал Анатолий. Он вскочил, схватил Веру за руку, поднял ее рывком, и они побежали, сами не зная куда, проваливаясь в какие-то ямы, продираясь сквозь кустарник, ничего не видя перед собой, с одной лишь мыслью: бежать, бежать как можно дальше от этого ужаса.

Но они не долго бежали. Снова над их головами раздалось все усиливающееся гудение, и этот страшный, никогда не слышанный ими ранее звук заставил их упасть на землю, лицом вниз, потом раздалась дробь пулеметной очереди, а еще минутой позже все стихло.

Анатолий поднял голову. Вера лежала рядом, а в двух шагах от нее — еще какая-то женщина. Она упала лицом вниз, на ней был халат, при падении он задрался, и при свете луны видны были ее голые, толстые, с крупными темными венами ноги.

— Вера, вставай, они улетели! — уже громче, чтобы ободрить и ее и себя, сказал Анатолий. — Нам надо идти. Они могут снова прилететь.

Он посмотрел на лежащую в двух шагах от них женщину и повторил:

— Вставайте, все кончилось.

Но женщина не двигалась. Очевидно, она все еще не могла прийти в себя от страха.

— Вставайте! — снова сказал Анатолий и дотронулся до ее плеча.

Он почувствовал что-то липкое, теплое, в ужасе отдернул руку и крикнул:

— Вера, она... убита!

Превозмогая страх, Вера дотронулась до головы женщины. Пальцы ее ощутили теплую и мягкую кровавую массу.

В этот момент откуда-то издалека опять донесся гул самолета.

И тогда они оба — Анатолий и Вера — снова вскочили и побежали...

...Они остановились лишь тогда, когда Вера, будучи уже не в состоянии бежать, упала. Анатолий уговаривал ее пересилить себя и идти дальше, но Вера сказала, что больше не может.

Анатолий опустился возле нее на колени и стал вытирать платком ее мокрое от грязи и слез лицо.

Они находились на опушке небольшой рощицы. Поезда отсюда уже не было видно, но на небе все еще полыхали отблески пожара.

Стало тихо. Они не слышали больше ни взрывов, ни ввинчивающегося в уши гула, ни криков людей.

— Это был налет авиации, понимаешь, налет! — тяжело дыша, сказал Анатолий.

Вера молчала. Она тоже не могла перевести дыхание и все еще не отдавала себе отчета в том, что произошло.

Прислушалась к словам Анатолия. Налет? Да, конечно, это был налет. Она видела в кино, как это бывает. Но то, что случилось, не было похоже ни на какой кинофильм.

Тихо, точно боясь, что ее голос может услышать где-то затаившийся враг, Вера спросила:

— Что же нам делать, Толя?

— Не знаю... Надо идти, пока не встретим кого-нибудь. Может быть, здесь вблизи деревня.

— Я не могу идти, — жалобно сказала Вера, — у меня ноги точно чужие.

— Мы немного отдохнем, и тебе станет лучше.

— Я вымокла до костей...

И только в эту минуту оба они поняли, что у них ничего с собой нет, ведь их чемоданы остались в вагоне.

— Да, дело плохо, — растерянно сказал Анатолий, — я тоже весь вымок.

— Ты снова заболеешь, — тревожно сказала Вера.

— А, чепуха! Разве об этом надо сейчас думать!

Анатолий уже стал приходить в себя, оправляться от шока. Он осмотрелся. Ночь была уже на исходе. Если бы небо внезапно не заволокло тучами, то через час уже было бы совсем светло.

Но сейчас их окутывал сумрак. Анатолий посмотрел на часы — стрелки показывали половину второго.

Они сидели на мокрой от росы траве. Неподалеку виднелась роща вся из белых, тесно растущих тонких березок. Где-то квакала лягушка. Зарево в той стороне, где находился поезд, погасло.

— Послушай, Толя, — нерешительно сказала Вера, — а может быть, нам вернуться туда... к поезду? Все-таки там люди... И вещи наши, может быть, уцелели...

— Ты с ума сошла, — резко ответил Анатолий, — они снова могут прилететь! Нам надо отдохнуть и идти дальше. Просто сейчас еще очень рано. А через час или два настанет утро, и мы наверняка кого-нибудь встретим. В конце концов мы не на необитаемом острове, а недалеко от Ленинграда.

Некоторое время они оба молчали.

— Толя, как же это, — не то спрашивая, не то размышляя вслух, сказала Вера, — как же они... долетели сюда? Ведь фронт где-то там, далеко?

— Не знаю, — после паузы ответил Анатолий, — может быть... — Его голос стал звучать глуше. — Может быть, за эти сутки что-нибудь изменилось?

Они снова умолкли, подавленные этим страшным предположением.

— Вот что, — сказал наконец Анатолий, — давай пойдем туда, к деревьям. А то мы сидим здесь... как на ладони.

Вера покорно встала. Они направились к роще.

Анатолий шел впереди, с трудом передвигая ноги. На ботинки его налипли комья грязи. Насквозь промокшие брюки липли к ногам, Вера молча шла за ним. Каблуки ее туфель были сломаны, она шла босиком, держа туфли в руке.

Они уже подходили к опушке рощи, как вдруг услышали чей-то голос, раздавшийся из сумрака:

— Кто идет?

Анатолий вздрогнул и остановился. Голос доносился из-за деревьев, но откуда-то снизу, точно из-под земли.

— Это мы... — растерянно ответил он и в этот момент увидел скрытого густой травой человека. Тот приподнялся, опираясь на руку, и тогда Вера и Анатолий узнали Кравцова. На нем по-прежнему был тот самый синий габардиновый плащ, только теперь его покрывала грязь, прилипшие листья и травинки.

Вера сделала несколько быстрых шагов к Кравцову и воскликнула облегченно, даже радостно:

— Это вы? Вы?!

— Я, — спокойно ответил Кравцов, снова опускаясь на траву. — Сломай-ка мне палку, — сказал он, обращаясь к Анатолию.

— Что? — не понял тот.

— Палку, — резко повторил Кравцов, — ну, сук какой-нибудь. Потолще. Ясно?

Еще час назад Анатолий дал бы достойный отпор этому человеку, если бы тот обратился к нему подобным тоном, да еще на «ты».

Но сейчас он был рад любому указанию, от кого бы оно ни исходило. Анатолий не знал, зачем этому человеку понадобилась палка, да и не раздумывал об этом. Он быстрым шагом пошел в глубь рощи и через несколько минут вернулся, таща за собой большой сук.

Он увидел, что Кравцов по-прежнему лежит, а Вера, стоя на коленях, склонилась над ним.

Однако не это удивило Анатолия. Его поразило, что рядом с Кравцовым лежал тот самый, запомнившийся ему небольшой чемодан. То, что этому человеку удалось сохранить свой чемодан в такой катастрофе, казалось Анатолию необъяснимым.

Увидя его, Вера сказала:

— Товарищ Кравцов ранен. В ногу.

В темноте леса Анатолий не мог разглядеть рану, только видел, что штанина на одной ноге Кравцова была завернута.

— Чепуха, — сказал Кравцов. — Палку принес?

— Да, да, — поспешно ответил Анатолий, вытягивая перед собой сук.

— Этой хворостиной быков погонять, — недовольно сказал Кравцов, — мне палку надо было. Ну, посох, опираться — понял?

И, видя, что Анатолий растерянно молчит, добавил:

— Ну ладно. Обломай его наполовину. Сойдет. — И неожиданно спросил: — У кого из вас есть спички?

— Спички? Закурить? — услужливо откликнулся Анатолий. — К сожалению, нет. Ни спичек, ни папирос. Некурящий.

— Вашу рану надо перевязать, — сказала Вера, — только у нас ничего нет. Все там осталось, в вагоне. Впрочем, может быть, в вашем чемодане...

Она протянула руку к маленькому дерматиновому, обитому металлическими угольниками чемодану.

— Не тронь, — неожиданно резко сказал Кравцов, и Вера в испуге отдернула руку.

— Я просто хотела там найти, — смущенно сказала она, — платок носовой или рубашку... Вы не бойтесь, я медик, сумею.

Кравцов усмехнулся.

— Ну, раз медик, давай лечи, — сказал он с несвойственной его холодно-равнодушной манере говорить иронией. — Подвинь чемодан... Вера.

Она подтянула к нему чемодан, который оказался совсем легким, и попыталась было его открыть, но Кравцов отстранил ее рукой и, приподнявшись, склонился над чемоданом.

В полумраке щелкнули замки.

— Вот, — сказал Кравцов. Он снова захлопнул крышку и протянул Вере что-то белое.

Она развернула аккуратно сложенный белый прямоугольник и сказала:

— Рубашка. Совсем новая!

— Плевать. Рви, — сказал Кравцов.

Но у нее не хватило сил разорвать рубашку. Ей помог Анатолий.

— Надо бы обработать рану, — сказала Вера, снова склоняясь над ногой Кравцова, — только нечем. Может быть, у вас есть одеколон?

— Нет, — коротко ответил Кравцов.

— Тогда хорошо бы промыть. Вокруг раны. Тут грязь налипла. Но воды тоже нет.

— Есть вода! — поспешно сказал Анатолий. — Тут в десяти шагах какая-то канава. Или пруд. Я видел.

— Пруд? — переспросил Кравцов. — Глубокий?

— Я... я не знаю, — растерянно ответил Анатолий.

— Толя, пойди и намочи это, — сказала Вера, протягивая лоскут разорванной рубашки.

— И посмотри, глубокий ли пруд. Палкой измерь! — добавил Кравцов.

Анатолий недоуменно взял и палку.

— Ну, давай быстро! — скомандовал Кравцов.

Анатолий скрылся среди деревьев, а Вера с удивлением посмотрела на Кравцова. Он показался ей совсем непохожим на того человека, с которым она так недавно сидела рядом на багонной скамье. Тот был спокойным, равнодушно-безучастным.

А этот Кравцов был совсем иным. Если бы он оказался растерянным, испуганным, Вера не удивилась бы: такая перемена была бы естественной после всего, что случилось. Но нынешний Кравцов показался ей раздраженным, злым, не терпящим возражений. И обращался он с ними, как с детьми, со школьниками.

— Вам больно? — спросила Вера.

— Что?

— Я спросила, не болит ли нога.

— А... а, перестань! — только отмахнулся Кравцов.

Вера умолкла. Через минуту вернулся Анатолий.

— Дна не достал! — воскликнул он почему-то радостно. Потом бросил на землю палку и протянул Вере мокрые тряпки.

Она опустилась на колени и стала осторожно обмывать кожу вокруг раны на ноге Кравцова.

— Это пулей? — спросила она.

— Медику полагается отличать огнестрельные раны, — насмешливо ответил Кравцов. — Никакая не пуля. На острую железяку напоролся. Должно быть, старый лемех валялся. Так пруд, Анатолий, говоришь, глубокий?

— Дна не достал! — поспешно повторил Анатолий.

— Так, — удовлетворенно заметил Кравцов. Опираясь обеими руками на палку и морщась от боли, он встал. — Возьми чемодан, — приказал он Анатолию, — и пошли к твоему пруду.

Анатолий схватил чемодан и устремился было вперед, но Кравцов остановил его негромким окриком:

— Иди рядом!

Кравцов шел медленно, с силой опираясь на палку и волоча ногу. Прошло несколько минут, пока они дошли до воды.

Вокруг торчали сломанные деревья, пни и острые сучья.

Кравцов несколько мгновений смотрел на ровную мутную поверхность воды, потом повернулся к Анатолию и сказал:

— Бросай. Только подальше, чтобы на середину угодить. Понял?

— Что... бросать? — недоуменно переспросил тот.

— Что, что! — передразнил его Кравцов. — Чемодан. Ну! На середину. Сил хватит?

— Но я не понимаю... — начал было Анатолий, но Кравцов не дал ему договорить.

— Бросай, — скомандовал он, — ну, быстро. Раз!..

И Анатолий, невольно подчиняясь, откинул назад руку с зажатым в ней чемоданом и с размаху швырнул его в воду.

Раздался громкий всплеск, и чемодан исчез.

Кравцов несколько мгновений глядел на расходящиеся круги.

— Пруд глубокий, — сказал Анатолий, интуитивно чувствуя, что Кравцову приятно это слышать.

— Пруд, пруд... — иронически повторил

Кравцов. — Это не пруд, а болото. Болото, в которое упала тонная бомба. Понял?

...Некоторое время все они стояли у воды. Потом Анатолий и Вера робко посмотрели на Кравцова, как бы ожидая его разъяснений, но тот молчал. Казалось, он и вовсе забыл об их присутствии.

Кравцов сосредоточенно глядел на воду, кожа на его скулах, казалось, натянулась еще сильнее, а шрам над правой бровью стал глубже.

Анатолий глядел на этого странного человека со смешанным чувством уважения и неприязни. Он инстинктивно чувствовал превосходство Кравцова, хотя и не отдавал себе отчета, в чем именно. И в то же время это чувство, как ему казалось, унижало его в глазах Веры. Анатолий не сомневался, что проигрывает в сравнении с Кравцовым. Он не знал, что дальше делать, куда идти, а Кравцов, судя по всему, знал. Странная, таинственная история с чемоданом лишь подчеркивала необычность поведения этого человека. Кто это такой? Может быть, темная личность? Что находилось в чемодане? Уж не краденые ли вещи?.. Но Анатолий чувствовал, что ни за что не решился бы спросить об этом Кравцова. Он сам не знал почему. Может быть, в душе он побаивался его.

И вместе с тем присутствие Кравцова успокаивало Анатолия. Он инстинктивно чувствовал, что на него можно опереться. Кто бы ни был этот человек, он наверняка доведет их до какого-нибудь населенного пункта. А там о нем можно будет и забыть. Дальше все будет проще, достаточно только выяснить, далеко ли они находятся от Ленинграда и есть ли поблизости железнодорожная станция или шоссейная дорога.

Вера тоже думала о Кравцове с чувством некоторого недоумения. Он казался ей странным, необычным. Но больше всего ее беспокоила его рана. Большая рваная рана на ноге, которую следовало бы немедленно обработать, затем ввести противостолбнячную сыворотку. Но все это можно проделать, лишь когда они доберутся до ближайшей деревни. Там, конечно, должен быть медпункт. И Толе тоже надо будет немедленно измерить температуру, хорошо бы и банки поставить профилактически. В медпункте наверняка они есть. С пневмонией не шутят. Надо бы поторопить Кравцова, сказать, что нельзя терять время. Впрочем, вообще удивительно, как он может стоять на ногах с такой раной. Надо будет помочь ему идти. Взять его под руки и вести...

— Как вы думаете... — робко начала было Вера, но он оборвал ее, властно, но негромко сказав:

— Тихо!

Вера и Анатолий недоуменно переглянулись. Потом стали напряженно прислушиваться. И тогда они услышали какой-то далекий, глухой гул...

— Что это? — встревоженно спросил Анатолий. — Ты слышишь?

— Да, — тихо ответила Вера.

— Не могу понять, что это за гул, — продолжал Анатолий. — Он мне что-то напоминает, только не могу вспомнить что. Будто обвал какой-то или водопад. — Он вопросительно посмотрел на Кравцова.

— Пошли, — неожиданно произнес Кравцов, круто повернулся и упал. Его лицо исказилось от боли.

Вера бросилась к нему, схватила за руку, пытаясь помочь подняться, говоря торопливо:

— Видите? Видите? Ведь больно? Конечно, больно! Это всегда первое время боли не чувствуешь, а потом все начинается. Толя, ну иди же сюда, Толя, поможем ему подняться...

Анатолий стоял, вытянув шею, прислушиваясь, стараясь понять, что означает этот далекий гул. Он был убежден, что уже слышал его, и не раз, только никак не мог вспомнить, где и когда.

Теперь он сорвался с места, бросился к Кравцову, подхватил его под вторую руку.

— Отставить, — оттолкнул его Кравцов.

Они недоуменно опустили его на траву.

Кравцов обвел пристальным взглядом со всех сторон окружающие их деревья и уже иным, спокойно-дружеским тоном произнес:

— Пожалуй, мне надо малость отдохнуть, ребята, а? Вот соберусь с силами, и пойдем. Ведь одного-то вы меня не бросите, верно? Да и рано еще. Все люди спят. А место здесь хорошее, тихое. Отдохнем?

И он посмотрел на Веру и Анатолия с просительной улыбкой.

— Но ваша рана... — начала было Вера.

— А шут с ней, — снова улыбнулся Кравцов, — впрочем, и ране лучше будет. Успокоится малость. Ну? Садитесь.

Они покорно сели возле него. Неожиданная перемена, происшедшая в этом человеке, одновременно успокаивала и тревожила их.

— Ну, вот и хорошо, ребята, вот и здорово, — приговаривал Кравцов. — Значит, тебя Толей зовут? — спросил он, хотя уже раньше обращался к Анатолию по имени.

Тот кивнул.

— Где учишься, Толя? — снова спросил Кравцов.

Анатолий нервно передернул плечами. Ему самому хотелось задать этому человеку десятки вопросов и прежде всего спросить, откуда взялись здесь, за сотни километров от фронта, немецкие самолеты, но он молчал, озадаченный переменой, происшедшей в Кравцове.

Он ответил, что учится в институте гражданских инженеров.

— Понятно, — кивнул головой Кравцов. — Значит, на каникулы поехал и заболел?

— У него воспаление легких было, — вмешалась Вера.

— Так, так, — задумчиво произнес Кравцов. — Что ж, может, оно и к лучшему.

Вера недоуменно приподняла брови.

— Что вы хотите этим сказать? — удивленно спросил Анатолий и добавил уже более решительно: — Из-за этой проклятой болезни я не мог явиться в свой военкомат.

— Ну, значит, не судьба, явишься позже, — с примирительной улыбкой сказал Кравцов. — Я тебе расскажу, случай один со мной был. Послали меня раз в командировку. Я в торговой сети работаю. Прихожу на Московский. Билетов нет — ни мягких, ни плацкартных, только общие. Ну, я тоже не рыжий в телятнике ездить. Но, как ни говори, отправляться надо — служебный, так сказать, долг. Я — раз на такси и — на аэродром. Повезло — последний билет достал! До посадки еще час, дай, думаю, в буфет зайду, сто граммов хлебну с прицепом, и вдруг по радио слышу: «Гражданин Кравцов, подойдите к кассе». Ну, подхожу. И что бы вы думали? Предлагают мне этот билет сдать. На каком таком, спрашиваю, основании? А кассирша, представляете, какую-то бодягу разводит, что билет этот был бронированный и мне его по ошибке продали. Я в ответ: знать, мол, ничего не знаю, — крик поднял, ничего не выходит. Или, говорит, сдавайте билет и получайте деньги обратно, или храните как сувенир, все равно вас по этому билету не посадят. Плюнул я на это дело, взял деньги, мотанул обратно на Московский, а там и в общий уже билетов нет. Ну, пришлось на следующий день ехать. Вот какое дело!..

Анатолий и Вера с недоумением слушали этот нелепый и какой-то неуместный в данных обстоятельствах рассказ.

Когда Кравцов умолк, Анатолий пожал плечами и спросил:

— Ну и что?

На мгновение лицо Кравцова снова передернулось от боли. Но тут же хитрая улыбка заиграла на нем.

— А то, — сказал Кравцов задумчиво, — что самолет этот разбился. В газетах сообщали. Дошло? Выходит — счастье...

— Не понимаю, — сказал Анатолий, — какое отношение все это имеет...

— Погоди, — прервал его Кравцов, — сейчас поймешь. Фортуна — дура, как говорит пословица, а пуля — она еще дурее. Может быть, если бы ты в первый же день на фронт пошел, то тебя уже и в живых не было. А ты вот живешь. Понял?

Лицо Анатолия налилось кровью. Он сжал кулаки и громко сказал:

— Вы... глупости говорите!

— Толя, ну зачем ты так, — вмешалась Вера, хотя ей тоже стало не по себе от рассказа Кравцова, — с тобой просто шутят!..

— А я подобных шуток, да еще в такой момент, не признаю, — еще более распаляясь, воскликнул Анатолий, — я, к вашему сведению, комсомолец...

— Тю-тю-тю! — насмешливо произнес Кравцов. — А разве комсомольцам жить не хочется? Ею, жизнью-то, и партийные, говорят, не бросаются. Лишний день прожить, парень, — за это любой человек цепляется. Если он с головой, конечно.

— Ну, вот что, — решительно сказал Анатолий и встал, — я вас понял. Еще тогда, в Белокаменске, на перроне понял, когда вы нас от вагона отпихнули. А теперь мне все ясно. До конца! Люди, значит, будут на фронте кровь проливать, а вы в своей торговой сети шахермахеры делать, а потом чемоданы в воду бросать? Так вот, я трусов презирал и презираю, я...

Анатолий уже не мог остановиться. Со все большей и большей горячностью выкрикивал он обидные слова, стремясь как можно больше уязвить лежащего у его ног человека. Он поносил его, испытывая чувство удовлетворения, как бы утверждая себя, вновь обретая почву под ногами. И то, что все это слышала и Вера, доставляло Анатолию еще большее удовлетворение.

— Да, да, — кричал он, — презираю трусов, которые вместе со всеми пели «Если завтра война...», а когда война началась, то стали прятаться по углам! Да если бы я был председателем трибунала, то...

Он захлебнулся в потоке слов, умолк, тяжело перевел дыхание и решительно сказал, как бы подводя итог:

— Пойдем, Вера!

Кравцов все это время внимательно слушал Анатолия, не сводя с него своих узких, немигающих глаз. Он ни разу не прервал его ни словом, ни жестом.

И только теперь, после последних слов Анатолия, приподнялся и сказал с недоброй усмешкой:

— А меня, значит, бросите?

Анатолий молчал, отвернувшись в сторону.

— Раненых бросать комсомольцам тоже не полагается, — назидательно сказал Кравцов.

— Вы не раненый, — зло, не глядя на Кравцова, ответил Анатолий, — вы просто драпали, да вот ногу ненароком повредили.

— Верно, — согласился Кравцов, — но тем не менее мне одному не дойти. Неужели бросите?

— Нет, Толя, так нельзя, — сказала Вера, — мы должны довести... его. Хотя, — она повернулась к Кравцову, — скажу прямо, мне ваши рассуждения тоже... кажутся странными.

— Ну вот и договорились, — примирительно сказал Кравцов и снова лег на спину.

Наступило утро. Белесый сумрак постепенно рассеивался. Где-то всходило невидимое, прикрытое облаками солнце. Налетел порыв ветра, деревья зашумели, и мутная вода в пруде покрылась рябью.

Кравцов по-прежнему лежал на спине. Анатолий отчужденно стоял в нескольких шагах поодаль, отвернувшись, всем своим видом подчеркивая, что Кравцов для него больше не существует. Вера растерянно переминалась с ноги на ногу, глядя то на Анатолия, то на лежащего в траве человека в порванном, залепленном грязью габардиновом плаще.

— Ну, вот что, — сказал наконец Анатолий, — надо идти. До ближайшего жилья мы вас доведем. А там, надеюсь, обойдетесь без нас.

Он произнес все это, по-прежнему не глядя на Кравцова, потом взял лежащую в стороне палку, бросил ее рядом с Кравцовым и угрюмо сказал Вере:

— Давай поможем ему подняться.

— Вот и спасибо, — по-прежнему миролюбиво сказал Кравцов и попытался приподняться. Лицо его снова исказилось от боли, но он тут же улыбнулся и сказал:

— Тут и идти-то до людей метров пятьсот, не больше. Что ж, ребята, помогайте инвалиду.

Анатолий и Вера недоуменно переглянулись: откуда этому странному типу известно, где они находятся, а если известно, то почему он до сих пор об этом молчал?

Потом Вера сунула ему в руку палку. Вместе с Анатолием они помогли ему подняться. Так, медленно двигаясь, они вышли на знакомую опушку.

И вдруг Анатолий увидел человека. Это был бородатый мужчина в сапогах, в широкой, выпущенной поверх брюк синей рубахе и с топором в руке. Он медленно приближался, шагая по высокой траве. Анатолий увидел его первым и обрадованно закричал:

— Эй, товарищ!

Человек в синей рубахе поднял голову, увидел приближающихся к нему людей и остановился, покачивая своим топором.

Анатолий побежал к нему, спрашивая еще на ходу:

— Скажите, товарищ, где это мы находимся?

Человек осмотрел Анатолия с головы до ног, потом перевел взгляд на остановившихся в некотором отдалении Веру и Кравцова и, снова глядя на Анатолия, ответил:

— На земле находитесь, юноша.

— Я понимаю, — нетерпеливо сказал Анатолий, — мы с поезда, на поезд самолеты налетели, мы в Ленинград ехали, а теперь вот не знаем, где находимся и далеко ли от Ленинграда...

— Так, так, — степенно сказал бородатый и пошел к все еще стоящему в стороне Кравцову и поддерживающей его под руку Вере.

Анатолий двинулся за ним следом, говоря на ходу:

— Вы что, разве не знаете, как эта местность называется? Вы ведь здешний, колхозник, да?

Бородач молча подошел к Кравцову и Вере, все тем же пристальным взглядом оглядел их и потом, обращаясь к Кравцову, спросил:

— Пулей задело?

— Нет, — ответил Кравцов, — на железяку напоролся.

— У него рваная рана, — торопливо вмешалась Вера, — его надо срочно в медпункт доставить, здесь нет поблизости больницы или медпункта?

— Как не быть, — все тем же спокойно-рассудительным тоном ответил бородач, — все в колхозе есть. И медпункт тоже...

Говоря, он пристально глядел в лицо Кравцову и вдруг неожиданно сказал:

— Вот какая, значит, неприятность с вами приключилась, товарищ Кравцов.

Вера и Анатолий переглянулись.

— Откуда вы меня знаете? — спросил Кравцов, освобождаясь от поддерживавшей его Вериной руки и, тяжело опираясь на палку, делая шаг к бородатому человеку.

— Как не знать, — постукивая топором по твердому, негнущемуся голенищу кирзового сапога, ответил тот. — Я вас знаю, и вы меня знать должны. Жогин моя фамилия. Жогин из Клепиков. Слыхали такую деревню?

Наступило минутное молчание.

— Ну вот и хорошо, Жогин, — сказал наконец Кравцов, обеими руками опираясь о палку. — Если тут Клепики, выходит, нам до сельсовета рукой подать. И до Ленинграда тоже недалеко. Верно?

— С одной стороны, товарищ Кравцов, оно верно. А с другой — как сказать, — медленно, с расстановкой ответил Жогин. — А я вот решил сучьев набрать. Тут, говорят, ночью такой бурелом прошел... Лес-то рубить нам Советская власть запрещает. Ну, а если без нас нарубили...

— Сучья наберешь в другой раз, — оборвал его Кравцов, — а сейчас давай в сельсовет, скажи, чтобы подводу прислали.

— Торопитесь, значит, товарищ Кравцов? А надо ли?

Снова наступило молчание. Теперь Кравцов и Жогин пристально, неотрывно глядели друг на друга.

Первым опустил голову Кравцов. Несколько мгновений он смотрел себе под ноги, точно разглядывая что-то в густой траве, потом повернулся к Анатолию и сказал:

— Отойди в сторону, Толя. И ты, Вера, тоже. Нам надо с Жогиным немного поговорить.

Анатолий хотел было возразить, сказать, что для разговоров нет времени и в конце концов, если у него, Кравцова, есть с этим Жогиным какие-то дела, то пусть ими и занимается, а они с Верой пойдут, пусть только Жогин укажет дорогу...

Но в это время он встретился взглядом с Кравцовым и увидел, скорее почувствовал в

выражении его лица, глаз что-то такое, что заставило его молча подчиниться.

Он и Вера сделали несколько шагов в сторону рощицы.

— Что все это значит? — тихо, но встревоженно спросила Вера.

— А черт его знает,— как можно беспечнее ответил Анатолий,— бред какой-то! Словом, мы ждем пять минут, не больше, и пойдем сами. В конце концов теперь этого Кравцова есть кому проводить. А мы и без него дорогу найдем. Ты слышал, что он сказал? Отсюда до деревни полкилометра, не больше.

Вера молчала. По небу плыли черные, с чуть подсвеченными краями облака. Ветер прижимал к земле высокую траву. Шумели деревья. Где-то над ними пронзительно кричала птица.

— Как ты думаешь, о чем они там беседуют? — спросила Вера, стараясь, как и Анатолий, говорить бодро и беспечно. Но у нее это не получалось.

— Понятия не имею, — пожимая плечами, ответил Анатолий.— Странный какой-то этот... Жогин. И говорит как-то... по-епиходовски... Ну...— Он посмотрел на часы.— Все. Сейчас я им скажу.

Но в это время Жогин повернулся и пошел в сторону. А Кравцов остался стоять, ссутулившись и по-прежнему двумя руками опираясь на палку.

Анатолий и Вера подбежали к нему.

— Ну? — спросил Анатолий. — Кончили свое производственное совещание? Можем мы наконец идти?

— Придется еще немного подождать,— ответил, не меняя позы, Кравцов, казалось думая о чем-то другом,— сейчас подводу пришлют.

— Но на кой нам черт подвода, если мы рядом с деревней? — воскликнул Анатолий.

Вера укоризненно посмотрела на него.

Кравцов неожиданно выпрямился, посмотрел в упор на Анатолия и властно сказал:

— Пойдемте, ребята, обратно в лес.

Не дожидаясь ответа и без посторонней помощи Кравцов первым заковылял к лесу.

— Что это еще за глупости такие! — раздраженно сказал Анатолий. Он не двинулся с места и держал за руку Веру.

— Ребята, идите за мной,— все так же настойчиво, но не оборачиваясь произнес Кравцов.

— Толя, пойдем за ним,— тихо сказала Вера, делая робкий шаг вслед за Кравцовым.

— Скоро наконец кончится эта детективная история?— воскликнул Анатолий.— Я никуда не пойду, пока мне не объяснят...

Кравцов на мгновение остановился, обернулся и сказал:

— Иди за мной, Анатолий, сейчас я тебе все объясню.

Они пошли за ним. Едва углубившись в рощу, Кравцов остановился и, облокотившись спиной о дерево, знаком подозвал к себе Анатолия.

— Мне надо с тобой поговорить, Толя,— сказал он негромко и повторил:— С тобой. А Вера пусть немножко погуляет.

И, не дожидаясь ответа Анатолия, произнес уже чуть громче, обращаясь к Вере:

— Вы не сердитесь. Просто у нас мужской разговор.

Анатолий приблизился к Кравцову, глядя на него с нескрываемой неприязнью.

Кравцов подождал, пока тот подойдет к нему почти вплотную, и тихо сказал:

— Здесь немцы, Толя.

В первую минуту Анатолий не понял смысла этих слов. Потом ему показалось, что Кравцов шутит, издевается над ним. Он уже хотел назвать Кравцова трусом и паникером, но, увидев выражение его глаз, осекся.

Кравцов смотрел на него пристально, даже сурово. Теперь перед Анатолием стоял как бы другой человек, разительно непохожий на того, что совсем недавно лежал на траве и с хитренькой улыбкой рассказывал свои анекдотцы.

Анатолий почувствовал дрожь в коленях.

— Вы... это серьезно? — невольно переходя на шепот, спросил он.

Кравцов молчал.

— Но откуда тут могут быть немцы? — продолжал спрашивать Анатолий с тайной надеждой, что он что-то не понял, придал не то значение словам Кравцова, и сейчас все разъяснится.— Ведь мы находимся почти под Ленинградом, так? Я же только вчера слушал радио, бои идут еще под Таллином...

— Не знаю, говорят, что они где-то поблизости,— нетерпеливо прервал его Кравцов.— В самих Клепиках немцев нет, и мы сейчас направимся туда — Жогин приедет на подводе. Но Сенцы — деревню в пяти километрах от Клепиков — они захватили этой ночью...

— Ну как, кончили ваш разговор? — издалека крикнула Вера.

— П-подожди! — чуть запинаясь и не оборачиваясь в ее сторону, бросил Анатолий.

— Так вот, Толя, теперь слушай меня внимательно,— сказал Кравцов, и в голосе его прозвучали добрые, даже задушевные нотки,— я могу доверять тебе?

Анатолий растерянно мигал глазами. Сердце его билось учащенно. Он все еще не отдавал себе отчета в том, что только что услышал, но уже верил, понимал, что на них надвинулась новая, еще более страшная беда.

Кравцов неожиданно положил руку на плечо Анатолия и притянул его к себе.

— Так вот, я тебе доверяю,— сказал он, почти касаясь своим лицом лица Анатолия,— я понял, что тебе можно верить, еще тогда, когда ты честил меня за ту историю... с самолетом. Я всю эту чепуху придумал. Так вот,

слушай. Возможно, что нам придется добираться до Ленинграда врозь. Может быть, ты окажешься там раньше меня. В этом случае ты в первый же день, в первый же час по прибытии в город пойдешь на Литейный. В Большой дом. Понял? В бюро пропусков снимешь трубку и скажешь, чтобы соединили с майором Туликовым. Запомнил? Ту-ли-ков. Скажешь, что от Кравцова. Он тебе закажет пропуск. Когда увидишь Туликова, передашь: «Товары завезены, магазин откроется в положенный час». Понял? Повтори!

— ...магазин откроется в положенный час... — механически повторил, едва шевеля пересохшими губами, Анатолий.

— Неверно! — неожиданно зло сказал Кравцов и больно сжал плечи Анатолия. — Ты пропустил, что «товары завезены».

— Нет, нет, я помню!

— Хорошо. Молодец, — с явным облегчением произнес Кравцов, опуская руки, — но это еще не все. Как твоя фамилия?

— Валицкий.

— Кто отец?

— Архитектор. Работает в архитектурном управлении Ленсовета.

— Не годится. Твоя фамилия... Авилов. Запомнил? Повтори!

— Авилов.

— Хорошо. Твой отец умер. В восемнадцатом году. Он был офицером. Тебе известно, что его расстреляла Чека. Понял?

— Что вы такое говорите? — негодующе воскликнул Анатолий.

— Твой отец — Авилов, бывший офицер, участвовал в заговоре, расстрелян в восемнадцатом, — не обращая внимания на возмущение Анатолия, медленно повторил Кравцов. — Ты воспитывался в детском доме. Ненавидишь Чека, НКВД и все такое прочее. Чтишь память отца, хотя никаких подробностей о нем, естественно, не помнишь. Тебе было тогда год от роду. Узнал о нем от дяди. Дядя умер пять лет назад. Запомнил?

— Но... но кому я должен все это сказать? — с отчаянием спросил Анатолий.

— Немцам, — жестко ответил Кравцов, — если придется. Документы с собой есть?

— Остались в поезде. В чемодане.

— Так и скажешь.

Он помолчал и немного добавил:

— Ты сожалел, что не попал в первый же день на фронт. Считай, что ты на фронте. Все. Вере ни слова. Ну... о Туликове.

— Вы... вы ей не доверяете?

— На сто процентов доверяю. Но она девушка. Может... не выдержать. А ты мужчина. Понял?.. А теперь запомни самое главное: что бы ни случилось со мной, ты должен добраться до Ленинграда и позвонить Туликову. Это очень, очень важно! Ну как, выполнишь?

Анатолий сосредоточенно молчал. Как это было ни удивительно, теперь он не чувствовал страха. Скорее наоборот. Неожиданное поручение наполнило его гордостью. Все, что он пережил в последние часы, и то, о чем узнал в последние минуты, отступило в его сознании на задний план. Для него было уже ясно, кто такой Кравцов. И мысль о том, что с этого мгновения он, Анатолий, тоже причастен к важному, секретному делу, к которому допускаются лишь самые проверенные, самые преданные люди, вселяла в него новые силы.

Тот факт, что где-то поблизости были немцы, он реально не мог себе представить. И если бы не страшные минуты, которые он пережил там, в поезде, и потом, когда бежал в растерянности и страхе, то все происходящее воспринималось бы им как эпизод из книги или кинофильма, посвященных грядущей войне.

В том, что ему, Анатолию, и, конечно, Вере удастся добраться до Ленинграда, он не сомневался. Как и многие ленинградцы, он хорошо знал серокаменное здание на Литейном — Большой дом. Он уже представлял себе, как замкнуто и отчужденно входит в это здание, как тихо говорит по телефону — сухо и немногословно:

— Это майор Туликов? Я от товарища Кравцова. По срочному делу...

Да, он все сделает, все выполнит в точности. Теперь он не просто парень в гражданской одежде, какой-то студент. У него важное секретное поручение...

— Я все понял, товарищ Кравцов, — твердо и даже торжественно произнес Анатолий, — все будет выполнено.

— Ну, вот и хорошо, — удовлетворенно, с явным облегчением сказал Кравцов. — Теперь позовем Веру. Вера! — громко окликнул он ее. И, когда она подошла, сказал спокойно: — Положение чуть осложнилось, Верочка. Ходят слухи, что немцы высадили поблизости десант. Разумеется, его уничтожат, и очень скоро. Нам придется переждать это время в Клепиках, там немцев нет. Вот и все. Для беспокойства особых оснований не имеется. Единственно, что тебе надо запомнить... ну, на всякий случай, что ты Толю раньше не знала. Познакомились в поезде. А потом вместе спасались от бомбежки. Поняла?

Вера молчала. Она стояла ошеломленная, лишившаяся дара речи.

— Вот что, Вера, — внушительно и строго сказал Анатолий, — все это товарищ Кравцов говорит просто так, ну, на всякий случай. Волноваться тут нечего. Если даже немцы и вправду высадили какой-то десант, то через несколько часов от него останется мокрое место. А мы пока что побудем в этих Клепиках, поедим, ты сможешь во что-нибудь переодеться...

Анатолий умолк, потому что увидел, что Вера глядит на него широко открытыми, полными ужаса глазами.

— Паниковать тут нечего. В конце концов ты не одна! — уже сердито прикрикнул он на нее.

Вера покорно кивнула.

Анатолий умолк. Он почувствовал, что страх, застывший в глазах Веры, передался и ему и не проходит. Он прислушался и снова услышал тот далекий и странный гул.

— Я вспомнил! — неожиданно громко воскликнул Анатолий и, точно сам испугавшись звука своего голоса, закончил уже тихо: — Я вспомнил. Ну... этот гул! Это танки! Я слышал этот звук у себя дома под праздники. Каждый май и ноябрь! Когда они репетировали парад. Это танки, танки!

Он умолк, ошеломленный своей догадкой. Но через мгновение, озаренный уже новой мыслью, снова воскликнул:

— Но раз танки, значит, это наши, ведь верно?

— Я тоже так полагаю, — негромко и рассеянно ответил Кравцов, — и все же осторожность не помешает.

— Но послушайте, — недоуменно произнес Анатолий, — это же нелепо! Зачем нам идти в эти Клепики? Почему мы не можем провести весь день и даже следующую ночь где-нибудь тут, в лесу? Если дело в еде, то я могу не есть сутки, и Вера тоже умеет терпеть, правда, Вера?

Кравцов молчал. Все, о чем говорил сейчас Анатолий, он уже обдумал и на все возможные вопросы уже дал мысленные ответы. Нет, он не мог посоветовать этим двум молодым, беспомощным в лесу городским ребятам оставаться здесь или пробираться к Ленинграду по местности, частично занятой немцами. Втроем можно было бы попытаться, но он, Кравцов, не в состоянии проковылять и нескольких десятков метров.

— Ну хорошо, — снова заговорил Анатолий, — а что будет, если немцы придут и в Клепики?

— Тогда нас спрячут у себя колхозники, — ответил Кравцов.

— Спрячут? — с плохо скрываемой тревогой спросил Анатолий. — А вы хорошо знаете этого Жогина?

— Да. Я его хорошо знаю, — медленно произнес Кравцов...

Только это он и мог ответить. Потому что сказать все — значило рассказать и о том, что десять лет назад он, Кравцов, работник НКВД, в качестве уполномоченного областного штаба по ликвидации кулачества конфисковал богатое имущество Жогина, а самого его с семьей отправил в Сибирь.

Сказать все — значило признаться, что он, Кравцов, и сам не знает, вернулся ли в родное село Жогин в качестве примирившегося человека или как враг. И если он враг, то что в нем окажется сильнее: ненависть, которая побудит его в случае возможности выдать Кравцова немцам, или страх перед расплатой после того, как их выбьют отсюда.

Но всего этого Кравцов сказать не мог. Он доверил этому парню, Анатолию, то, чего не мог не доверить в создавшихся обстоятельствах. Все остальное не имело отношения к этому главному и могло вселить в души этих ребят лишь страх. Он прислушался, услышал стук колес приближавшейся телеги и бодро, почти весело сказал:

— Ну, кажись, карета подана. Пошли!

И, тяжело опираясь на палку, сделал шаг вперед...

XIV

Тем, кто знал Федора Васильевича Валицкого поверхностно, старый архитектор казался человеком крутого нрава, упрямым, болезненно самолюбивым — словом, малоприятным в общении.

Немногочисленные же друзья Валицкого, единодушно сходясь во мнении, что «характерец у Федора трудный», считали его, однако, человеком талантливым и честным, но вместе с тем самым большим врагом себе.

И в самом деле, казалось, трудно себе представить личность, более «не созвучную эпохе», чем шестидесятисемилетний академик архитектуры Федор Васильевич Валицкий. В двадцатые годы, в период повального среди архитекторов увлечения идеями конструктивизма, Валицкий, который был лично знаком с Корбюзье, ценил его и не раз получал от знаменитого француза книги с дружественными надписями, неожиданно выступил с резкой критикой зарубежного новатора и особенно его советских подражателей.

Характер у Валицкого был желчный. Критикуя кого-либо или что-либо, он в выражениях не стеснялся и наиболее рьяных авангардистов, пропагандирующих стиль Корбюзье и строительство безликих домов-коробок, «городов будущего», оторванных от исторически сложившихся поселений, называл обезьянами, попугаями и неучами.

В основе его критики лежала верная мысль о том, что идеи Корбюзье, и в особенности практика осуществления его проектов за границей, не могут лечь в основу строительства в нашей, разоренной войнами стране, по крайней мере, в ближайшие годы. Валицкий утверждал, что, пока промышленность строительных материалов у нас еще недостаточно развита и вложить в нее большие средства при хроническом дефиците во всех сферах экономики еще невозможно, следование идеям Корбюзье неминуемо приобретает лишь внешний, подражательный характер, а на практике ведет к возведению непрочных, неудобных для жилья и работы, холодных, неуютных домов.

Коллеги Валицкого, особенно молодежь, стали относиться к нему с неприязнью. И дело было не только в том, что свою критику Валицкий облекал в обидную, саркастически-уничижительную форму. Главное заключалось в другом. В те далекие годы очень многие люди были убеждены, что «прекрасное будущее» не только не за горами, но где-то совсем рядом, почти столь же близко, сколь близко находятся друг от друга реальные «сегодня» и «завтра».

Они были уверены, что наступление этого «завтра» зависит лишь от темпов разрушения старых традиций и что сознательно-волевым усилием можно в кратчайший срок создать новую литературу, новую живопись и новую архитектуру.

Критика Валицкого была принята в штыки. Его стали презрительно называть «академиком», «традиционалистом», «рутинером», не понимающим, что новая социальная эпоха требует новых, созвучных ей архитектурных форм.

Однако в середине тридцатых годов, когда Корбюзье был предан анафеме, а его наиболее упорные последователи объявлены формалистами, Валицкий неожиданно сделал решительный поворот в противоположную сторону.

На собрании ленинградских архитекторов он выступил с резкой критикой нового, становящегося господствующим направления в архитектуре, которое назвал «ложноклассическим», «надуто-помпезным», «дворянским стилем для бедных».

Валицкий утверждал, что мы поступаем неправильно, предавая забвению опыт зарубежного строительства вообще и идеи Корбюзье в частности, и что это тем более непростительно именно теперь, когда наша страна стала гораздо богаче, чем десятилетие тому назад и создала собственную индустриальную базу.

Валицкому дали «достойный отпор».

То было время крайности во всякого рода спорах, любые мнения по профессионально-техническим вопросам считались половинчатыми, оппортунистическими, если не сочетались с политическими оценками. И за Валицким, который, казалось, и впрямь обладал несчастным даром восстанавливать против себя не только своих оппонентов, но и единомышленников, прочно укрепилась кличка «формалиста», к тому же упорствующего в своих заблуждениях.

И все же с Валицким считались. Он был одним из старейших архитекторов города, учеником уже ушедших из жизни прославленных мастеров русского зодчества. Несколько домов, возведенных Валицким в Ленинграде и в других городах страны, упоминались в специальной литературе.

В профессиональной среде знали, что Валицкий обладает огромными знаниями не только как архитектор, но и как инженер-строитель. Однако тот факт, что за ним прочно укрепилась репутация «формалиста», и к тому же упрямого, чуждого самокритики, являлся решающим.

Имя Валицкого стало одиозным, отныне оно упоминалось только в докладах и, как правило, лишь в том разделе, где говорилось о чуждых влияниях в советском зодчестве.

Валицкий уже не строил домов. Ему не поручали ответственных проектов, привлекающих внимание общественности. В советских и партийных кругах Ленинграда его считали высококвалифицированным специалистом, но человеком сугубо аполитичным и даже фрондером, не заслуживающим особого доверия. К Валицкому относились холодно, хотя и с некоторой почтительностью.

Тем не менее старика довольно часто привлекали для различных «внутренних», технических консультаций и экспертиз, включали в некоторые комиссии. Его труд хорошо оплачивался.

Внешность Федора Васильевича Валицкого как нельзя лучше гармонировала с его репутацией человека, не созвучного времени. Он был высок, худощав, любил белые, коробящиеся от крахмала сорочки, галстук-«бабочку», темно-синий костюм и обязательную в любое время года жилетку. В кармане этой жилетки он носил на тонкой золотой цепочке старинные золотые часы с массивной крышкой.

У Валицкого была густая седая шевелюра, угловатые черты лица, плотно, казалось, презрительно сжатые губы и длинные руки с тонкими, обтянутыми желтоватой кожей пальцами.

Федор Васильевич с женой, сыном и домработницей тетей Настей жил на Мойке, в им самим еще до революции построенном доме, в большой, пятикомнатной квартире — ее не коснулись ни реквизиции, ни уплотнения благодаря охранной грамоте, подписанной человеком, имя которого для миллионов людей символизировало непререкаемый авторитет и высшую справедливость.

Жену Валицкого, тихую, безропотную, маленькую, пожилую женщину, звали Мария Антоновна, а сына, двадцатитрехлетнего студента института гражданских инженеров, — Анатолий.

К жене Федор Васильевич относился безразлично и редко замечал ее присутствие, а сына, родившегося, когда Валицкому исполнилось уже сорок четыре года, любил странной, тщательно скрываемой любовью.

В отличие от жены, он никогда не ласкал его, даже маленького, хотя не находил себе места от волнения, если Толя — правда, это случалось не часто — заболевал.

Когда сын подрос, отец редко удостаивал его сколь-нибудь серьезной беседы.

Федора Васильевича раздражали неизменный оптимизм сына, его самоуверенность, а также увлечение спортом — занятием неинтел-

лектуальным. За столом Анатолию редко удавалось вымолвить фразу, которая не вызвала бы иронической реплики отца.

И тем не менее Валицкий очень любил своего сына, хотя, казалось, делал все от него зависящее, чтобы Анатолий об этой любви даже не догадывался.

Федор Васильевич был человеком замкнутым, после приспособленчества больше всего на свете ненавидел сентиментальность, к себе в душу не допускал никого и, может быть, именно поэтому никогда не пытался заглянуть во внутренний мир, в мысли Анатолия. Он лишь издали следил за тем, чтобы жизнь сына развивалась, как он любил выражаться, «в правильном направлении».

Это означало, что Анатолий должен был хорошо учиться в школе, затем поступить в институт и не жениться до тех пор, пока не станет на ноги. Такова была программа-минимум, и за выполнение ее Федор Васильевич чувствовал себя ответственным.

Когда по окончании школы Анатолий заявил отцу о своем намерении держать экзамен в институт, где готовят архитекторов, Федор Васильевич иронически-равнодушно пожал плечами. Но в душе сознавал, что это только привычная поза. Втайне его уже давно радовали школьные успехи сына в области рисования, черчения и математики, и он был доволен, когда заставал его у своих шкафов, набитых монографиями и альбомами.

Архитектура была богом Валицкого, единственным, перед чем он преклонялся, что считал незыблемым на земле. Ему было приятно, что его чувства передались сыну.

Однако он столь ревностно, столь свято относился к божеству, жрецом при котором состоял, что не сразу верил в чистоту намерений неофита, даже если им был собственный сын.

— Не советую, — коротко бросил Федор Васильевич, когда Анатолий сдержанно и как бы между прочим сообщил ему о намерении посвятить себя архитектуре.

— Почему? — так же коротко спросил Анатолий.

— Сейчас туда привнесено много политики, — ответил, чуть кривя свои тонкие губы, Федор Васильевич. — Боюсь, что ее хватит в излишке даже и на твой век. Займись медициной. Или физикой. Большие перспективы, и меньше мешают.

Теперь настала очередь Анатолия пожать плечами и снисходительно усмехнуться. Ему были известны фрондерские взгляды отца на многие вещи, он относился к этому несколько иронически, хотя никогда не вступал с отцом в споры.

Анатолий был комсомольцем, в школе считался активным общественником, и, как это ни парадоксально, во всем этом большую роль сыграла именно одиозная репутация его отца. Анатолий, может быть сам того не сознавая, всячески старался выявить свою самостоятельность, убедить всех окружающих в своей идейной независимости от него.

Постепенно и, вернее всего, бессознательно он пришел к убеждению, что мнение о нем людей зависит от слов, которые он произносит, поскольку для совершения каких-либо особо примечательных поступков повода все как-то не представлялось. Почему-то всегда случалось так, что когда его соученикам приходилось выезжать в колхоз на уборку картофеля или в бригадах Осодмила дежурить вместе с милиционерами на улицах, «неблагополучных по хулиганству», Анатолий всегда оказывался одним из тех, кто посылал и произносил при этом соответствующие слова и кто потом «заслушивал отчеты», а не среди тех, кого посылали и кто потом отчитывался.

Для создания себе отменной репутации одних слов оказывалось совершенно достаточно.

Учился Анатолий хорошо, на различного рода собраниях говорил тоже хорошо и правильно, окружающие считали его умным, веселым и в то же время выдержанным парнем, и постепенно он и сам уверился в том, что является именно таким.

Валицкий-старший иногда посмеивался над «твердокаменностью» своего сына, которую называл эмоциональной ограниченностью и интеллектуальной нетребовательностью. Однако в душе он был даже доволен: ему вовсе не хотелось, чтобы сын повторил полный тревог и ударов по самолюбию жизненный путь своего отца.

...О начале войны Валицкий узнал не в полдень, как большинство людей в стране, а несколько позже, потому что не терпел радио, в квартире его не было приемника, а повесить на стену уродливую черную тарелку местной трансляции он не разрешил бы, наверное, и под угрозой смерти.

В тот июньский воскресный день Федор Васильевич, позавтракав вдвоем со своей приученной к безмолвию женой, направился к себе в кабинет, плотно затворил двери, уселся за старомодный, черного дерева письменный стол и погрузился в чтение.

Это была не работа, а отдых, который Федор Васильевич позволял себе именно по воскресеньям.

Сама мысль, что отдыхать можно не за письменным столом, а где-нибудь на сестрорецком пляже или в парках на Островах, среди толпы слоняющихся по аллеям людей, показалась бы ему варварской.

На это воскресенье Федор Васильевич отложил еще со вчерашнего вечера увесистый том Витрувия «Десять книг об архитектуре» — роскошное итальянское издание, которое приобрел в Риме еще в 1910 году.

Вчера его взгляд, пробегая по корешкам книг, заполнявших книжные шкафы, выстроенные вдоль одной из стен кабинета, остановился именно на этом классическом произведении. Федор Васильевич вспомнил, что не раскрывал его уже много лет. Он вынул тяжелый, со множеством красочных иллюстраций том и положил его на письменный стол, предвкушая предстоящее ему завтра удовольствие.

В воскресенье, не спеша позавтракав, он вошел в свой кабинет, уселся в потертое кожаное кресло, привычным движением выключил телефон и, наугад раскрыв отложенную с вечера книгу, погрузился в созерцание чертежа элементов античного ордера — карнизов, фризов и капителей. Очень скоро мысли Валицкого потекли в обычном для него направлении. Превыше всего ценивший в архитектуре целесообразность и пропорциональность, он с привычным раздражением вызвал в своем воображении те современные здания, в которых колонны и капители уже не имели ничего общего с целесообразностью и превратились в нелепые украшения дурного вкуса.

Около двух часов дня погруженный в чтение Валицкий услышал доносившиеся из-за закрытой двери кабинета возбужденные женские голоса. Он недоуменно и недовольно поморщился, ожидая, пока шум смолкнет, но в это время дверь распахнулась настежь, и в комнату с причитаниями и всхлипами, перебивая друг друга, вбежали Мария Антоновна и тетя Настя.

Именно в этот момент Федор Васильевич Валицкий и узнал от вернувшейся из магазина домработницы, что люди кругом говорят о какой-то речи по радио насчет войны.

Рассерженный Федор Васильевич прикрикнул на женщин, приказал им замолчать. Он не сомневался в том, что тетя Настя что-то напутала. В последнее время редкая политическая статья обходилась без слова «война», к тому же на Западе и в самом деле уже почти два года Германия вела боевые действия, — возможно, что какие-то паникеры не вникли в смысл очередной радиопередачи и...

Словом, Федор Васильевич приказал женщинам замолчать.

Воспитанные в течение долгих лет в духе абсолютной покорности мужу и хозяину дома, обе старухи, все еще всхлипывая и причитая, пошли к двери, но Марья Антоновна, дойдя до порога, внезапно бросилась обратно к мужу с возгласом: «Толя! Ведь Толенька-то уехал!»

Разумеется, в этом сообщении для Валицкого не было ничего нового, поскольку он только в пятницу попрощался с сыном, который сказал, что еще не решил окончательно, где проведет каникулы — на юге или под Ленинградом, но сообщит тотчас же, как только где-нибудь «осядет».

Федор Васильевич еще раз прикрикнул на жену, сказав, что Анатолий не ребенок, и выпроводил ее из кабинета.

Оставшись один, Валицкий подошел к окну, открыл его и выглянул на улицу. Ничего необычного он не увидел. На улице было не больше народу, чем в любой воскресный летний день. По бывшему Невскому, часть которого была хорошо видна отсюда, из окна, катились «эмки» и ЗИСы. На углу Мойки и Невского (Валицкий никогда не употреблял громоздкое название «проспект 25 Октября») бойко торговал цветочный киоск.

«Война? — произнес про себя Валицкий. — Что за глупости! Какая война?!»

Он вернулся к столу, сел, решив продолжать чтение, но передумал и снял телефонную трубку. Телефон молчал. Валицкий забыл, что выключил его еще с утра, как делал всегда, когда садился за письменный стол.

Он передвинул рычажок на маленькой, прикрепленной к стене эбонитовой панельке, дождался ответа станции и назвал номер одного из своих старых друзей — доктора Андрея Григорьевича Осьминина.

Он знал этого человека, своего сверстника, уйму лет, постоянно ссорился с ним и любил его придирчивой, эгоистической любовью.

Когда-то Валицкий лечился у частнопрактикующего врача-терапевта Осьминина — это было еще до революции. Постепенно они подружились. И тогда Осьминин сказал:

— Вот что, Федор, ищи-ка себе другого врача, а я тебе отныне не лекарь. Ты мне больше не веришь. Несть пророка в своем отечестве. К тому же тебе нужен пророк с палкой, чтобы ты его слушал и боялся. Я тебе говорю, что у тебя начальная стадия гипертонии, а ты посылаешь меня к черту. Словом, чай у тебя пить буду, если Мария Антоновна пригласит, а лечит пусть тебя кто-нибудь другой.

Так и договорились. Они виделись часто, но редко расставались, не повздорив. И причина этого в конечном итоге заключалась в том, что Осьминин слишком хорошо знал Валицкого и уже давно разглядел в характере его те черты, о которых даже не догадывались другие. Этими чертами были легкая ранимость, которую Валицкий искусно прятал под маской равнодушия и даже высокомерия, и жажда деятельности, которую в силу сложившихся обстоятельств Валицкий также пытался скрывать.

Доктор Осьминин был вдовцом, он жил в маленькой квартире с внучкой Леночкой, дочерью своего погибшего на войне с финнами сына. Мать Леночки ушла от мужа через два года после рождения дочки и не давала о себе знать. Четырнадцатилетняя Лена вела немудреное хозяйство деда; два раза в неделю к ним являлась приходящая домработница. Сам Осьминин уже давно забросил частную прак-

тику, не возвращался к ней, в отличие от многих врачей, и в период нэпа, и последние годы заведовал больницей на Васильевском острове.

...И вот теперь, в воскресенье 22 июня, около двух часов дня, Валицкий назвал номер Осьминина и, услышав знакомый дребезжащий голос, как нельзя более спокойно, не здороваясь и без всяких предисловий, спросил:

— Ну... что нового?

— Ты что, с ума сошел, Федор! — возмущенно воскликнул Осьминин. — Нашел время для нелепых шуток!

— Значит... — после короткой паузы и неожиданно упавшим голосом произнес Валицкий, — значит, это правда?

— У тебя что, уши ватой заткнуты? — продолжал возмущаться Осьминин. — В конце концов есть пределы...

— Извини, — прервал его Валицкий, и голос его прозвучал как-то виновато, — я просто не мог поверить... Я позвоню тебе позже...

Он повесил трубку и тихо произнес вслух:

— Значит, все это правда. Война.

Он положил руку на грудь, потому что почувствовал, как часто и гулко бьется его сердце, и несколько минут сидел неподвижно.

Потом встал, снял потертую, сшитую из тяжелого шелковистого сукна пижамную куртку, сохранившуюся с давних времен, и подошел к высокому стоячему зеркалу.

У зеркала он сосредоточенно повязал своими тонкими, сухими пальцами галстук-«бабочку», с трудом справляясь с туго накрахмаленным воротником, надел жилетку, темно-синий пиджак и вышел из кабинета.

Мария Антоновна, услышав шаги мужа, бросилась к нему, он молча ее отстранил, направился к парадной двери, взял стоящую в углу толстую орехового дерева палку и вышел на улицу.

У него не было никакой цели, ему некуда было идти. Просто он хотел вырваться из внезапно охватившего его состояния оцепенения.

Высокий, негнущийся, старомодный, Валицкий шел по улице, не глядя по сторонам, слегка пристукивая по тротуару палкой и высоко подняв свою седую голову.

Откуда-то издалека до него донеслись звуки радио. Не убыстряя шаг — Валицкий всегда и при любых обстоятельствах ходил в одном и том же темпе, — он пошел туда, откуда доносились эти звуки.

Он вышел на Невский, повернул направо и зашагал по проспекту. Уже очень скоро он сообразил, что голос репродуктора раздается из того самого переулка, где помещался Дом радио.

В переулке стояла толпа и безмолвно слушала громкий голос, доносящийся из похожего на огромную граммофонную трубу репродуктора, выставленного в раскрытом окне третьего этажа.

Валицкий стал в стороне, не смешиваясь с толпой. Он напряженно вслушивался в смысл доносящихся из громкоговорителя слов, стараясь схватить их сущность, уловить какие-то фразы, интонации, которые могли бы оправдать еще чуть теплящуюся в его душе надежду на то, что все это — недоразумение, что люди неправильно истолковали какое-то неудачно составленное сообщение. Но безотчетно лелеемая им надежда была уже через несколько коротких минут погребена под тяжестью неумолимых слов, падающих оттуда, сверху, на безмолвную, неподвижно стоящую здесь, внизу, толпу.

Да, это была война. Не та, воображаемая, что уже не первый год, как призрак, как мрачная тень, давила на сознание людей, а реальная, ставшая сегодняшним днем война: диктор говорил о внезапном нападении немецких войск с юга, запада и севера — повсюду, от Балтийского до Черного моря...

Потом он умолк, но толпа все еще не расходилась, и Валицкий тоже стоял, не двигаясь, ошеломленный, подавленный.

Диктор начал говорить снова, и Валицкий не сразу понял, что он опять произносит те же самые слова, повторяя сообщение, а когда сообразил, то пошел прочь, с трудом передвигая не гнущиеся в коленях ноги.

Он снова вышел на Невский и механически повернул в сторону, противоположную своему дому, к Аничкову мосту.

Пройдя немного вперед, Федор Васильевич увидел кучку людей, толпящихся у стены Госбанка, подошел, остановился и, пользуясь своим высоким ростом, глядя поверх голов, увидел мокрое, видимо, только что наклеенное объявление.

Он прочел набранные красным строки — это были все те же фразы, которые только что раздавались по радио: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Валицкому стало душно, он повертел головой, стараясь ослабить впивающийся в шею туго накрахмаленный воротничок, и в соседней зеркальной витрине увидел свое отражение. И пожалуй, первый раз в жизни ему показалось, что он выглядит как-то несовременно, чуждо всему окружающему. Широкие концы его тщательно вывязанной «бабочки» торчали подчеркнуто вызывающе, накрахмаленная сорочка топорщилась из-под жилетного выреза, седая, хорошо промытая шевелюра возвышалась над головой, точно нимб.

Валицкий повернулся и пошел обратно, к своему дому.

За обедом Мария Антоновна снова начала говорить об Анатолии, но Федор Васильевич и на этот раз двумя-тремя короткими фразами заставил ее замолчать.

И тем не менее Валицкий не мог, не был в

состоянии не думать сейчас о сыне. Ему вдруг пришла в голову мысль, что их отношения с тех пор, как Анатолий стал сознательно мыслить, и до сегодняшнего момента развивались не совсем естественно.

Анатолий жил своей, не всегда понятной отцу жизнью. Иногда ему хотелось проникнуть в эту жизнь. Случалось, что у сына собирались товарищи — девушки и юноши, но тогда Валицкий лишь плотнее закрывал двери кабинета, чтобы к нему не доносился громкий смех и раздражающие его звуки патефона.

Впрочем, однажды его охватил приступ любопытства. Он вспомнил свою молодость, студенческие сборища, пунш, «Гаудеамус», девушек-курсисток и все такое прочее, ныне безвозвратно канувшее в прошлое, и Федору Васильевичу захотелось пойти и посмотреть, как веселится нынешняя молодежь.

В тот вечер у Анатолия собрались студенты, его однокурсники. Когда Валицкий появился в комнате сына, там наступило внезапное молчание. Наверное, он, вылощенный, накрахмаленный, неприступный, и впрямь выглядел неуместно среди вихрастых ребят в майках и ковбойках. Они так и застыли на своих местах — где кто был, только патефон, который никто не догадался остановить, продолжал наигрывать «Риориту».

Дело, по-видимому, заключалось не только в том, что Валицкий смущал ребят своим внешним видом. Студенты-строители, они, разумеется, знали о репутации, которой пользовался старый архитектор, и, так сказать, априори были настроены по отношению к нему несколько драчливо.

Может быть, Валицкий предполагал это или интуитивно почувствовал, но так или иначе стал «задираться» первым, иронически расспрашивая, «чему же теперь учат».

Но в то время, когда студенты ершисто отвечали на его вопросы, внутренне уверенные в «непрошибаемости» старика, старику было очень горько на душе. Он еще и еще раз почувствовал, что никому не нужен, что-то пробормотал напоследок и ушел... И вот теперь он вдруг подумал, что если бы ему и впрямь предстояло расстаться с сыном, то, наверное, ни он сам, ни Анатолий не сумели бы найти нужных и важных слов. Однако мысль об этом лишь на мгновение появилась в сознании Валицкого, ему легко было прогнать ее, потому что все только что случившееся казалось ему совершенно нереальным.

Все мысли, все ощущения Валицкого еще были связаны со вчерашним днем. В его жизни еще не произошло того особого, личного события, которое заставляет человека не только поверить, но и почувствовать, что отныне он вступил в совершенно новую стадию существования и что прошедшая ночь не только, как обычно, отделила вчерашний день от сегодняшнего, но огненной чертой пересекла все, чем живет человек: чувства, надежды, устремления и все, что его окружает.

Поэтому возбужденное, близкое к истерическому состояние жены раздражало Валицкого: он не видел для этого оснований.

Война представлялась ему как нечто далекое, неосязаемое, происходящее где-то «там» событие, к которому ни он, ни его «дом» не может и не будет иметь прямого отношения. Разумеется, мысль об Анатолии в связи с войной приходила и ему в голову. Однако Федор Васильевич был уверен, что сын его, как студент предпоследнего курса института, не будет призван в армию. В его подсознании все еще жило представление о войне как о чем-то похожем на то, что происходило в 1914 году, когда не только в крупных городах, но и в каких-нибудь ста верстах от линии фронта жизнь протекала обычным, мирным путем. Мысль, что война может запустить свою страшную лапу сюда, в Питер, казалась Валицкому противоестественной.

Следовательно, Анатолию ничего не грозило. А раз так, то слезливые причитания жены не имели оправдания. Они лишь унижали достоинство Анатолия, как будто он малый ребенок, маменькин сынок. А все, что в действительности или в воображении Федора Васильевича унижало достоинство его самого или членов его семьи, «дома», вызывало в нем резкую, протестующую реакцию.

Менторски, педантично разъяснил Федор Васильевич жене, что Анатолий уехал не на Северный полюс, а в населенный пункт, что там наверняка имеется радио, и, услышав о войне, он, разумеется, поспешит домой.

Однако Мария Антоновна не успокоилась — ее пугала, угнетала мысль, что сына могут послать на фронт, — и этого Федор Васильевич уже не мог ей простить. И хотя в душе был уверен, что в армию Анатолия не призовут, да и война эта наверняка кончится очень скорым разгромом немцев, он сердито сказал, что его сын не слюнтяй и не трус и в свои двадцать три года не будет держаться за юбку матери.

Это вызвало новый поток слез Марии Антоновны. Валицкий резко крикнул ей: «Прекрати!» — и ушел в свой кабинет.

Поздно вечером у Валицких неожиданно появился Андрей Григорьевич Осьминин. Он сказал, что заехал ненадолго, потому что через час в больнице, которой он заведовал, состоится экстренное общее собрание.

Валицкий молча посмотрел на своего мешковато одетого, лысого, страдающего одышкой друга и внезапно ощутил нечто похожее на угрызения совести оттого, что Осьминин, видимо, занят каким-то серьезным, неотложным

делом, в то время как сам он сидит в своем кабинете, будто ничего не случилось.

И как всегда в подобных случаях, Валицкий попытался прибегнуть к своей спасительной иронии, каждый раз забывая, что с Осьмининым это у него не получается.

— Ну, разумеется, без тебя дело не обойдется, — сказал Валицкий. — Кстати, тебе еще не присвоили генеральское звание?

— Я военврач второго ранга, — сухо сказал Осьминин. — А ты кто?

Валицкий пожал плечами и усмехнулся.

— Между прочим, мне исполнилось шестьдесят семь. И единственное ружье, которое имеется в этом доме, принадлежит Анатолию. Он играл с ним, когда ему было пять лет.

— Перестань паясничать, Федор, — сказал Осьминин. И после паузы добавил: — Впрочем, я тебя понимаю...

До Валицкого немедленно дошел снисходительно-обидный смысл этих последних слов. Но именно на этот раз ему захотелось сопротивляться. Он прямо и с вызовом посмотрел в глаза своего друга и громко сказал:

— Я честный человек, Андрей! И мне не в чем себя упрекнуть.

Наверное, Осьминину в этих словах послышалось не только оскорбленное самолюбие. Может быть, он почувствовал в них и горечь и боль. И ему стало жалко Валицкого. Он сказал мягко:

— Никто в этом не сомневается, Федор.

Некоторое время царило молчание, и первым его нарушил Осьминин.

— Лично я считаю, что все это быстро кончится, — сказал он, нарочито уходя от личной темы. — Говорят, что наши высадили большой десант где-то неподалеку от Берлина. Только пока это держится в секрете.

Однако Валицкий был слишком самолюбив, чтобы оценить великодушие Осьминина. Ухватившись было за протянутую ему руку, он тут же отстранил ее. Валицкий не мог примириться с тем, что Осьминин видел его в состоянии растерянности и унижения.

— От кого же секрет? — спросил он уже снова своим привычно-ироническим тоном. У него не было никаких оснований сомневаться в реальности такого десанта, более того, в душе ему страстно хотелось верить в него. И тем не менее, когда Осьминин пожал плечами, он снова, еще настойчивее повторил свой вопрос: — От кого же секрет? От немцев или от нас? Полагаю, как в первом, так и во втором случаях в этом вряд ли есть смысл.

— Ну, конечно, ты великий стратег и тактик! — насмешливо заметил Осьминин. Он не смог сказать ничего другого, поскольку и впрямь не находил убедительных причин для сохранения подобной тайны, однако самоуверенность Валицкого сегодня особенно его коробила. Широкотелый, круглоголовый, лысый, он сидел в кресле и сердито хмурил белесые брови.

— Я не стратег и не тактик, — сказал Валицкий, довольный, что его сарказм, по-видимому, достиг цели, но больше уже не рискуя выводить Осьминина из терпения, — просто я оперирую логикой здравого смысла.

— Немцев разобьют за несколько дней, — громко и решительно сказал Осьминин.

— Очевидно, — согласился Валицкий. — Надеюсь, что воевать-то мы умеем. Во всяком случае, лучше, чем строить дома.

Этого ему не следовало говорить. По крайней мере, сегодня. Осьминин встал.

— Вот что, — сказал он и, пожалуй, впервые за долгие годы знакомства с Валицким посмотрел на него с явной неприязнью, — мне не нравится твой тон. Сидеть в кресле и с профессорским видом рассуждать, когда на фронте уже наверняка гибнут люди...

— Но что же мне остается делать в мои шестьдесят семь лет? — усмехнулся Валицкий. — Для рядового я стар, в генералы меня не произведут, как, впрочем, и тебя, я не медик, латать животы не умею, следовательно, единственное, что мне остается, — это именно рассуждать! Не понимаю, чего ты раскипятился? Как я сказал, мы, очевидно, победим...

— Очевидно?!

— Боже мой, не разыгрывай из себя энтузиастического комсомольца! Да, очевидно, потому что война есть война, и всегда остается какой-то процент...

— Ты допускаешь мысль, что Гитлер...

— Подожди! У меня, как ты понимаешь, нет никаких симпатий к этому господину. В нем в наиболее концентрированной форме сосредоточилось все то, что я ненавижу. Он демагог, изувер — словом, как принято говорить, реакционер.

— Именно поэтому он обречен!

— Довольно наивное рассуждение. Ты просто малообразованный человек, Андрей! Если бы ты столь же усердно изучал историю, как больные сердца и желудки своих пациентов, то знал бы, что в развитии человечества бывали периоды, когда варвары на довольно долгие времена успешно подавляли несравненно более высокие культуры.

— Ты самодовольный позер, Федор, — сказал Осьминин, — а мне сейчас просто некогда. Я должен ехать в больницу. Надеюсь, ты не будешь вести с Анатолием подобные сомнительные беседы.

— Анатолия нет дома. Он уехал на курорт.

— Сегодня ему полагалось бы быть здесь.

Его слова снова задели Валицкого за живое.

— Это не твоя забота! — надменно сказал он.

Осьминин хлопнул дверью и ушел. Валицкий остался один. И пожалуй, в первый раз за долгие годы их короткая встреча оставила у Ва-

лицкого неприятный осадок. Фраза Осьминина, на которую он в иное время не обратил бы внимания: «Ты самодовольный позер, Федор», — на этот раз почему-то больно уколола его.

Валицкий постарался восстановить в памяти, мысленно повторить те слова, за которыми последовала эта фраза. Да, да, он сказал что-то насчет истории. Может быть, это прозвучало глупо. И все же он был прав. Никакая, даже самая острая ситуация не может, не должна помешать мыслящему человеку рассуждать, анализировать, сопоставлять факты.

И все же бывают ситуации, когда...

Валицкий постарался не думать об этом. Он посмотрел на большие стоячие часы. Стрелка показывала одиннадцать. Наступала ночь. Он подошел к окну, посмотрел на улицу. Там было тихо и все как обычно в полночный час, только очень мало людей — лишь отдельные прохожие.

«Трудно представить себе, что где-то идут бои», — подумал Валицкий.

И в этот момент до него донеслись далекие звуки радио. Федор Васильевич высунулся из окна, прислушался. Разобрать слова диктора он не мог, но ему показалось, что диктор настойчиво повторяет какую-то одну и ту же фразу.

Потом радио смолкло. Минуту стояла полная тишина. И вдруг ее прорезал пронзительный, завывающий звук.

Федор Васильевич подумал было, что где-то неподалеку мчится машина Скорой помощи и, завывая сиреной, расчищает себе дорогу.

Однако громкий, точно ввинчивающийся в воздух, в уши, в стены домов звук не приближался и не затихал, как наверняка должно было бы быть, если бы проезжала санитарная машина.

Казалось, что он исходит отовсюду и заполняет собою все.

Федор Васильевич стоял у окна, недоуменно вглядываясь в прилегающие улицы, стараясь понять, что же, в сущности, происходит.

Внезапно сверлящий звук смолк. На минуту воцарилась полная тишина. Потом он услышал откуда-то снаружи крик:

— Эй, вы там! Немедленно погасите свет! Слышите?

Валицкий высунулся в окно. У стены противоположного дома стоял молодой человек в гражданском костюме, но с красной повязкой на рукаве. Увидев Валицкого, он закричал еще громче:

— Воздушная тревога! Вы что, оглохли? Немедленно погасите свет! Не то...

И он погрозил кулаком.

Валицкий посмотрел на окна противоположных домов и увидел, что ни в одном из них нет света.

Он торопливо отошел от окна, повернул выключатель и вышел в другую комнату. Он прошелся по всей квартире: электричество всюду было выключено, однако свет белой ночи проникал в окна. Федор Васильевич увидел спящую на диване в столовой жену. Он не стал ее будить и, осторожно шагая, вернулся в кабинет.

В этот момент откуда-то издалека до него донесся глухой удар. За ним последовал второй, третий... Валицкий торопливо подошел к окну и увидел, что по серо-белесому небу ползет бледный, едва различимый луч прожектора. Через мгновение появился еще один луч. И оба они стали медленно ползти по небу, потом скрестились, образуя римскую цифру X, снова разъединились и затем опять сошлись, но уже где-то в высоте и едва касаясь друг друга остриями своих лезвий.

Снова раздался далекий удар, а затем частая дробь пулемета. И в этот момент Федор Васильевич увидел в месте скрещения лучей прожекторов едва различимую серебристую точку. Она тоже медленно, очень медленно плыла по небу, точно зажатая гигантскими щипцами и ведомая ими.

Прошло еще несколько мгновений, и вдруг откуда-то снизу, из-за стен домов, вверх поползли пунктирные черточки разных цветов — красные, зеленые...

Точно вспарывая бело-серый купол неба, они упорно прокладывали себе путь, все ближе и ближе подбираясь к плывущей в перемещающихся лезвиях прожекторов серебристой точке.

Внезапно орудийный грохот раздался где-то совсем рядом, казалось, что стреляли с крыши того самого дома, где находился Валицкий, в небе вспыхнули белые облачка, в воздухе запахло гарью и порохом...

Валицкий торопливо закрыл окно и побежал в столовую: Мария Антоновна по-прежнему спала. Она лежала, зарывшись лицом в мокрую от слез подушку. Федор Васильевич прислушался к ее едва различимому дыханию. Он не знал, что ему делать: разбудить ли жену, перевести ли ее в другую комнату, с окнами, выходящими во двор, или, оставив спящей, избавить от страха, от новых переживаний.

Он взял стул, тихо поставил его у изголовья жены и сел, как бы защищая ее от надвигающейся опасности. Но в этот момент все смолкло.

Федор Васильевич сидел неподвижно, прислушиваясь, каждое мгновение ожидая новых залпов.

Но их не было. Медленно, на цыпочках, боясь разбудить жену, еще не веря внезапно наступившей тишине, Федор Васильевич снова вернулся в кабинет и распахнул окно.

Только теперь он увидел, что на пустом, будто вымершем Невском стоят посреди улицы, точно прикованные, машины.

И небо было чистым, пустынным и безмолвным. Валицкому показалось, что он единственный живой человек в этом внезапно окаменевшем, застывшем городе, и ему стало страшно.

И в этот момент он снова услышал далекий голос радио. Диктор снова повторял какую-то одну и ту же неразличимую фразу. Это длилось несколько минут, потом голос затих, и вдруг все ожило, точно в старой сказке о спящей царевне.

Двинулись машины, откуда-то, казалось прямо из стен домов, появились люди, издалека донесся скрип и грохот трамвая. И только в воздухе по-прежнему пахло чем-то непривычным — это был едкий, терпкий запах.

Внезапно Валицкий ощутил страшную усталость.

Тяжело шагая, Федор Васильевич подошел к дивану и, не раздеваясь, прилег.

...Он проснулся под утро и, увидев себя одетым, испугался, что жена войдет в комнату и поймет, что этой ночью что-то произошло.

Он поспешно встал, пошел в столовую и, с удовлетворением увидев, что Мария Антоновна все еще спит, прошмыгнул в спальню, разделся и лег в постель.

Он пролежал до утра с открытыми глазами, погруженный в тяжелые раздумья.

В восемь часов Федор Васильевич встал, оделся, оставил жене записку, что вернется к завтраку, и вышел на улицу. Ему не терпелось узнать, что произошло, что изменилось в городе после этой ночи.

Но, судя по всему, ничего не изменилось. Улицы были, как обычно, полны народу. Федор Васильевич не увидел никаких следов разрушений, никаких признаков пугающих перемен.

Он медленно шел по Невскому, и уже скоро ему стало казаться, что все, что он пережил ночью, было только сном.

Утренних газет, из которых он мог бы узнать новости, на стендах еще не вывесили. «Может быть, это была просто учебная тревога?» — с тайной надеждой подумал Федор Васильевич.

Он ощутил острую потребность поговорить с кем-либо, выяснить, что же произошло. Решение пришло мгновенно: он пойдет в архитектурное управление и там узнает все новости.

В обычное время Федор Васильевич редко бывал в этом учреждении, где числился консультантом. Считалось, что он работает дома. В случае необходимости Валицкому звонили по телефону, чтобы договориться о деталях какой либо очередной поручаемой ему экспертизы. Тогда Федор Васильевич являлся на короткое время в управление, чтобы ознакомиться с необходимой документацией, а чаще всего — забрать ее с собой домой.

По собственной же инициативе Валицкий в управление не ходил. Вообще в последние годы он не ощущал потребности общаться с людьми, за исключением очень немногих. Он жил в собственном мире — мире книг и скульптур, которые собирал в прежние годы во время своих — еще дореволюционных — заграничных путешествий, в строгой тишине большой квартиры, стены которой были увешаны картинами известных петербургских художников. Некоторые из этих картин были некогда подарены Валицкому авторами, другие он собрал сам.

Распорядок дня был утвержден у него раз и навсегда. Никто из домашних не смел его нарушить. Например, звонить ему следовало только между девятью и одиннадцатью часами утра, в остальное же время дня к телефону он не подходил. И уж конечно, никто не мог бы понудить Валицкого пойти в архитектурное управление без зова, без специального приглашения.

...И вот теперь Федор Васильевич медленно прошел по знакомым, обычно вызывающим у него неприязнь коридорам. Большинство из тех, кого он встречал на пути, знали его в лицо, кланялись, однако торопливо проходили мимо.

Остановить человека, который сам не сделал попытки заговорить с ним, Валицкий не мог, — это было бы против его правил. Правда, раза два или три, увидев знакомое лицо, Федор Васильевич несколько замедлял шаг, но никто точно не замечал этого.

Тогда Федор Васильевич решил скрепя сердце зайти в кабинет Рослякова — одного из руководителей управления, человека, которого не любил, потому что считал его карьеристом и демагогом, но был вынужден, однако, встречаться с ним во время различных консультаций и экспертиз.

Валицкий без стука открыл дверь кабинета, перешагнул порог и увидел, что Росляков сидит за столом, окруженный людьми, некоторые из них были уже в военной форме. Он прервал разговор, когда вошел Валицкий, поднял голову и, как показалось Федору Васильевичу, посмотрел на него недовольно и с недоумением, точно не понимая, зачем он здесь появился в такое время. Валицкий сказал, вернее, пробормотал: «Извините, я зайду позже», и поспешно вышел из кабинета.

Он еще некоторое время побродил по коридорам управления, заглянул в несколько комнат. Никто не пригласил его зайти, никто ни о чем не спросил. Высокий, негнущийся, несмотря на жару, в синем двубортном костюме и в крахмальной сорочке, он бродил здесь как неприкаянный.

Казалось, что война, события этой ночи в еще большей мере отдалили Валицкого от людей, и если прежде они обращались к нему с холодной почтительностью, то сейчас просто не замечали. Но если раньше ощущение отчужденности было связано в сознании Федора Васильевича с уверенностью в своей значительности и интеллектуальном превосходстве, то теперь он вдруг почувствовал себя униженным и оскорбленным.

Он вышел на улицу и увидел, что за то время, пока он был в управлении, на стенах домов появились новые плакаты и объявления. Одно из них сообщало, что немецко-фашистская авиация предприняла минувшей ночью попытку прорваться к Ленинграду, но была отбита с большими потерями для врага. Рядом был наклеен Указ Президиума Верховного Совета о мобилизации военнообязанных по ряду военных округов. Список открывал Ленинградский округ.

Валицкий торопливо пробежал указ до его последней строчки, где говорилось, что мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.

«...по 1918 год включительно», — снова перечитал Валицкий последнюю строку указа. И почувствовал необычную дрожь в коленях. Потом сказал себе: «Конечно, Толя — военнообязанный. Но он имеет отсрочку до окончания института; ведь ничего не сказано о том, что отсрочки отменяются...»

Валицкий почувствовал легкое прикосновение к своему плечу и услышал голос: «Посторонитесь-ка, гражданин!»

Он сделал шаг в сторону.

Женщина с ведром в одной руке и со свернутыми бумажными рулонами под мышкой другой руки встала на его место.

Она опустила на тротуар ведро, вынула из него кисть и стала мазать клеем по стене рядом с Указом Верховного Совета.

Потом взяла один из рулонов и, обращаясь к Валицкому, сказала:

— А ну, гражданин, подержите!

Тот сразу понял, что от него требовалось. Вдвоем они раскрутили рулон, оказавшийся длинным красочным плакатом, и прижали его к стене. Женщина еще раз провела рукой по лицевой стороне плаката, сосредоточенно посмотрела на него, взяла ведро, собрала оставшиеся рулоны и пошла дальше по тротуару.

Валицкий вгляделся в плакат. На нем был изображен матрос в тельняшке, в бескозырке, с развевающимися лентами и с гранатой в поднятой руке. Под изображением большими красными буквами было написано: «За Родину!»

Чисто автоматически Федор Васильевич отметил недостатки плаката — непропорционально большая рука матроса и не вполне естественный замах.

Он пошел вдоль тротуара, читая расклеенные сводки вчерашних боев — утренние и вечерние. Подобно многим старым людям, Валицкий обладал хорошей памятью на события далекого прошлого и теперь вспомнил военные сводки, печатавшиеся в начале первой мировой войны.

Нет, в них не упоминались те населенные пункты и направления, которые фигурировали в сводках сегодняшних.

Судя по всему, война шла на русской, а не на немецкой земле.

И вот это-то обстоятельство вызвало в Валицком пока еще целиком не осознанный, чисто эмоциональный прилив чувства горечи, оскорбленного достоинства и страстного протеста. «Как это может быть? Кто позволил? Почему?! Ведь получается, что немцы находятся на нашей земле, хотя идут уже вторые сутки войны. На русской земле? Но это же... это же черт, черт знает что такое!»

И тут же с привычной неприязнью подумал о том, что, наверное, нашими войсками командуют такие же некомпетентные люди, как и те, что в течение многих лет пренебрегали умом, знаниями и опытом академика Валицкого.

Эта мысль доставила ему хотя и горькое, но все же некоторое удовлетворение.

Федор Васильевич пошел домой.

Мария Антоновна бросилась к мужу, как только тот, щелкнув ключом, открыл дверь и появился на пороге. Она закидала его вопросами: правда ли, что ночью был налет, — ведь она заснула на кушетке и ничего не слышала; есть ли разрушения в городе и не звонил ли ночью Толя?

Валицкий, стараясь сохранять спокойствие, ответил, что никакого налета не было — просто объявили учебную тревогу, а о налете пишут и говорят лишь для того, чтобы сохранить бдительность; что же касается Анатолия, то он не звонил, потому что наверняка уже выехал в Ленинград и будет дома если не сегодня, то завтра.

Потом Федор Васильевич сел за накрытый стол, нехотя поел и отправился в свой кабинет. Телефон молчал.

Вечером, едва сдерживая растущую обиду, он позвонил Осьминину, готовясь высказать ему все, что о нем думает. Но оказалось, что Андрея Григорьевича не было дома.

Его внучка Леночка ответила, что дедушка не возвращался с раннего утра и сказал по телефону, чтобы его не ждали ни к обеду, ни к ужину.

Валицкий снова позвонил своему другу, на этот раз на работу, в больницу. Осьминин взял трубку не сразу, прошло несколько минут, пока его разыскали, и Федор Васильевич услышал знакомый голос.

— Ты что же, не мог позвонить? — как обычно, без всяких приветствий, спросил Валицкий.

— Занят, Федор, очень занят! — послышался торопливый ответ. — Сам понимаешь...

Эти последние слова Осьминина почему-то еще более усилили раздражение Валицкого. Он едко сказал:

— Ну, конечно, как же мне не понять! Может быть, тебя все-таки произвели в генералы? Готовишься вести в бой войска?

Наступила короткая пауза. Потом — на этот

раз точно издалека — снова раздался голос Осьминина:

— Занят, Федор, очень занят. Люди ждут, извини...

Валицкий еще несколько секунд сжимал трубку, не кладя ее на рычаг. Слова Осьминина прозвучали как вызов, как оскорбление. Он отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. Что он хотел такое сказать, повторив два раза, что занят? Снова подчеркнуть свое отличие от него, Валицкого? Свою причастность к тому, что происходит? Что без него не могут обойтись?

Федор Васильевич подошел к книжному шкафу, вынул наугад одну из книг — это оказался «Трактат об архитектуре» Андреа Палладио — и стал перелистывать страницы, пытаясь успокоиться. Но успокоиться ему не удавалось. В ушах его все еще звучал голос Осьминина, эта последняя его фраза: «Занят, очень занят, люди ждут...»

Федор Васильевич раздраженно захлопнул книгу, сунул ее обратно в шкаф и в это время услышал робкий стук в дверь. Он удивленно обернулся. Ни жене, ни сыну, ни домработнице не разрешалось нарушать его уединение в эти часы.

Не отвечая на стук, Валицкий подошел к двери, рывком распахнул ее и увидел тетю Настю.

— Что тебе? — недовольно спросил он.

— Спрашивают вас, Федор Васильевич, — робко, вполголоса ответила она.

— Кто «спрашивают»? — подчеркнуто громко переспросил Валицкий.

— Не знаю. Гражданин какой-то. Королев, говорит, фамилия.

— Королев? — недоуменно переспросил Валицкий. — Откуда он?

— Не знаю, Федор Васильевич, не знаю откуда, — затараторила тетя Настя, — с улицы пришел, в парадную позвонил, я и открыла... Дело, говорит, важное...

— Ну, хватит, — раздраженно прервал ее Валицкий. — Проси.

Он отошел к письменному столу, повернулся и стал выжидающе смотреть на дверь.

Через мгновение на пороге появился незнакомый человек. Валицкий с недоумением оглядел этого высокого, пожалуй, выше, чем он сам, пожилого мужчину, его потертый старомодный пиджак, лацканы которого слегка отгибались, белесо-синюю, должно быть, бесконечное число раз стиранную рубаху, вязаный, свившийся жгутом галстук, убедился, что никогда ранее этого старика не встречал, и сухо спросил:

— Чем могу?..

— Моя фамилия — Королев, — сказал незнакомый человек, — а зовут Иван Максимович.

Произнеся это, он умолк, точно полагая, что его фамилия, имя и отчество должны были что-то говорить Валицкому.

Федор Васильевич передернул плечами и повторил:

— Итак, чем могу?..

Королев равнодушным взором окинул комнату, на пороге которой стоял — тяжелые бархатные портьеры, массивную бронзовую люстру, кожаные кресла, книжные шкафы, — и снова устремил свой взгляд на неподвижно стоящего у письменного стола замкнутого, высокомерного Валицкого.

— Я... насчет дочки, — неожиданно глухим голосом произнес Королев.

— Простите, кого? — с подлинным недоумением переспросил Валицкий.

— Дочка моя... Вера... — повторил Королев.

— Но я... не имею чести... — начал было Валицкий, но Королев неожиданно прервал его, на этот раз строго и холодно:

— При чем тут честь? Я думал, сын вам рассказывал...

Сперва Валицкий ничего не понял. Но уже в следующее мгновение он почувствовал, как загорелось его лицо. «Этого еще не хватало!» — подумал он со смешанным чувством тревоги и брезгливости. Неужели ему предстоит выслушать какую-то пошлую историю, в которую замешан его сын?! Да, да, конечно!

Как все это нелепо, глупо! Валицкого больше всего ранила мысль, что он узнает об этом именно теперь, в такое время!..

Прием, который ему оказали в управлении, торопливо-отчужденные слова Осьминина по телефону, а теперь еще и эта, несомненно, пошлая история — все сплелось в сознании Валицкого в один колючий клубок. Федор Васильевич чувствовал, что еще минута — и он уже будет не в силах совладать с собой. Ему хотелось накричать на этого все еще стоящего в дверях человека, весь облик которого так не гармонировал с царящей здесь атмосферой, прогнать его, крикнуть вслед, что ему ни до чего нет дела, что ни на какой шантаж он не поддастся, что Анатолий — совершеннолетний, и поэтому...

Но хотя Валицкий и был резким и заносчивым человеком, в критические моменты полученное им воспитание иногда брало верх. Так и теперь он подавил уже готовые сорваться с языка слова, судорожно проглотил слюну и сказал, делая неопределенный жест рукой:

— Прошу садиться...

XV

К деревне они подъехали не по главной проселочной дороге, переходящей в единственную деревенскую улицу, а с тыла, по целине. Когда Жогин остановил лошадь у изгороди, из-за которой выглядывали высокие подсолнухи, Кравцов сказал:

— Отведи ребят в избу.

— А вы? — удивленно спросила Вера.

— И я скоро. Куда мне деться с костылем? — с добродушной усмешкой ответил Кравцов, полулежа на телеге.

Жогин молча просунул руку в просвет изгороди, отодвинул на ощупь задвижку низенькой калитки и сказал:

— Что ж, проходите, гостями будете. Я сейчас, — бросил он Кравцову.

Анатолий и Вера нерешительно пошли за Жогиным к дому, почти невидимому за яблоневыми деревьями.

Поднявшись на крыльцо, Жогин толкнул ногой незапертую дверь.

— Вы в сенях подождите. Я сейчас, — сказал он и, притворив за вошедшими Анатолием и Верой дверь, исчез.

Они осмотрелись. В сенях было прохладно и сумрачно. Плотно прикрытая дверь, очевидно, вела в горницу. На бревенчатой стене висел умывальник. Под ним, на табурете, стоял таз. В дальнем конце сеней угадывалась крутая, уходящая вверх лестница.

Анатолий и Вера молчали, прислушиваясь к звукам снаружи и ожидая прихода Кравцова.

Но когда дверь снова отворилась, они увидели, что Жогин был один.

— А где же... — почти одновременно произнесли они оба, но Жогин, не дожидаясь конца вопроса, ответил:

— А товарищ Кравцов в другую гостиницу отправился. Стеснять не пожелали. Вы, значит, у меня побудете, а товарищ Кравцов решил сам по себе. У него в Клепиках знакомых ку-уда как много! А вам привет просил передать. Вот так.

Он произнес все это не спеша, с расстановкой, и трудно было понять, усмехался ли он про себя при этом или нет.

«Но мы хотим быть вместе!» — чуть не вырвалось у Анатолия, однако он вовремя подавил эти слова, вспомнив инструкцию Кравцова.

Жогин показал на лестницу и произнес:

— Чего ждете-то? Давайте наверх.

— Скажите, пожалуйста, — робко произнесла Вера, — это правда, что немцы... — Она умолкла, так и не договорив.

— Коль не врут, значит, правда, — на этот раз уже откровенно усмехнувшись, ответил Жогин, — а только что здесь удивительного? — как бы самого себя спрашивая и разводя руками, заметил он. — Война — могут и без разрешения появиться, раз сила есть. У вас, извините, национальность какая будет? — неожиданно задал он вопрос.

— Мы русские, — поспешно ответил Анатолий.

— Ну вот и хорошо. Опять же если в комсомоле состоите, никто вас за язык не тянет... Товарища Кравцова хорошо знаете? — без всякого перехода спросил он.

— Нет, нет, что вы! — торопливо ответил Анатолий. — Откуда? Мы в поезде вместе ехали. На одной полке. А потом поезд разбомбили...

— Ну и ладно, — готовно, почти радостно согласился Жогин, — вот и товарищ Кравцов от знакомства с вами отказывается. Вот и ладно, — повторил он. — А теперь давайте за мной.

И он первым медленно и тяжело стал взбираться по лестнице. Через минуту они уже были на чердаке. Из оставшейся открытой двери на пол падала широкая светлая полоса. Пол покрывали остатки сена. В углу лежала куча какого-то тряпья. Небольшое оконце было наглухо забито досками.

Жогин пропустил Анатолия и Веру вперед, а сам остался стоять у двери. Потом сказал:

— Ну вот что, молодые люди, — и голос его зазвучал на этот раз сухо и деловито, — положение, значит, такое. Пока надо вам будет оставаться здесь. Хозяйка с поля придет — принесу что-нибудь поесть. А чтоб видели вас — это ни к чему. Ни вам, ни мне. Значит, посидите тут. Если выйти понадобится, по нужде, скажем, в пол ногой постучите. А так — шуму лучше не производить.

— Но... но немцев же наверняка уничтожат! — воскликнул Анатолий.

— Оно, конечно, возможно, — снова в прежней своей манере — степенно и с расстановкой — сказал Жогин, — а только береженого бог бережет. К тому же я за вас перед товарищем Кравцовым в ответе. Наказ от него получил строгий. А Кравцов — мужчина серьезный. Шутить не любит.

— Послушайте, — торопливо сказал Анатолий и сделал шаг по направлению к Жогину, — я хочу вас спросить... вы же ведь местный и должны знать... а наши войска здесь есть? Ну как это могло получиться, что немцы...

Он не решился произнести эти слова «оказались здесь» — и умолк.

— Насчет войска сказать не могу, не видел, — с готовностью ответил Жогин. — А как оно могло получиться, вы уж лучше у самих немцев спросите. Если придется...

— Неужели вы думаете... — подавленным от волнения голосом начала было Вера.

— А это, барышня, пусть лошадь думает, — неожиданно грубо прервал ее Жогин, — у нее на то голова большая. А за нас думает Советская власть. Как кому жить и что кому делать. Мы к тому привыкшие. Ну... с новосельем, значит.

Он резко повернулся, перешагнул через порог и плотно прикрыл за собой дверь. Через мгновение заскрипела лестница под его тяжелыми шагами.

Некоторое время Анатолий и Вера в растерянности стояли молча. Сквозь щели между досками, которыми было забито окно, прорывались узенькие полоски света. Постепенно их

глаза привыкли к полумраку. Анатолий покопался в куче лежащего под окном тряпья, нашел жесткий порванный тюфяк и расстелил его у стены, под забитым окном.

— Садись, — сказал он Вере и первым опустился на тюфяк.

Но Вера продолжала стоять.

— Садись, — повторил Анатолий.

Она села.

— Тебе не показалось, что он улыбался? — тихо и удивленно спросила Вера.

— Улыбался? Кто? Жогин? Когда?

— Ну вот когда ты сказал, что немцев наверняка уничтожат. И о Кравцове он как-то странно говорил.

— Разве он говорил что-нибудь о Кравцове? — настороженно переспросил Анатолий.

— Ну, конечно. Неужели ты не слышал?

— А, насчет наказа, — успокоенно произнес Анатолий. — Ну, это у него просто такая манера, видимо. Ерническая, что ли... Ну садись же, чего ты стоишь!

Она медленно опустилась на тюфяк и села, поджав под себя ноги и прислонившись спиной к стене.

— Тебе есть не хочется? — спросил Анатолий.

— Нет. А тебе?

— Тоже нет. Вот странно! Последний раз мы ели часов двенадцать тому назад, не меньше. А спать хочешь?

— Нет.

— И я — нет. Ни в одном глазу. А ведь мы всю ночь провели на ногах.

— А температуры у тебя нет?

— Ну какая тут может быть температура!..

Они сидели и, точно сговорившись, задавали друг другу самые незначительные, далекие от всего того, что с ними приключилось, вопросы. Им обоим хотелось слышать голос друг друга, и оба они боялись, что может наступить тишина.

Он спрашивал, не холодно ли ей, хотя на чердаке было жарко и душно, не поранила ли себе ноги, когда бежала, удобно ли ей сидеть, и снова — не хочется ли ей есть и спать, а она спрашивала, не болит ли у него голова, не чувствует ли он жара и не хочет ли прилечь.

Но наконец наступила минута, когда все эти вопросы иссякли, и оба они умолкли, боясь взглянуть правде в глаза.

Некоторое время они молча прислушивались к редким, доносящимся откуда-то издалека ребячьим голосам, к лаю собаки, к стуку колес проезжающей телеги.

Первой не выдержала Вера. Она придвинулась ближе к Анатолию и спросила почти шепотом:

— Толя!.. Как ты думаешь, чем все это кончится?

Этот шепот подействовал на него подавляюще. Он ответил нарочито громко:

— А чем это может кончиться? Немцев наверняка вышибут, если уже не вышибли. Я просто уверен, что их уже и в помине нет. Ты помнишь, тогда, в лесу, мы слышали стрельбу и этот гул? А теперь? Кругом все тихо. Я уверен, — продолжал он бодрым, окрепшим голосом, — что все это вообще была ложная тревога. В крайнем случае немцам удалось выбросить группу парашютистов-смертников. Ну, чтобы создать панику. Ты сама подумай, что может сделать какая-то горстка немецких солдат здесь, под Ленинградом, окруженная со всех сторон нашей армией? Да они с самого начала были обречены на уничтожение. Осторожность, конечно, не помешает, несколько часов придется посидеть тут, но я уверен, что еще сегодня вечером, самое позднее — завтра утром мы будем в Ленинграде.

Вера молчала, но Анатолий чувствовал, что его слова успокоили ее.

— А где может быть Кравцов? — неожиданно спросила Вера.

Этот вопрос вернул Анатолия, почти успокоенного своими же словами, к тревожной действительности. Он уже забыл о Кравцове, о поручении, которое тот возложил на него, и не хотел думать об этом. Он гнал все это из своей памяти: и жуткий, горящий поезд, и катящихся по насыпи обезумевших от страха людей, и разговор с Кравцовым, и самого Кравцова.

Ему хотелось успокоить Веру, принять какие-то меры, найти выход из положения. Но больше всего ему хотелось вернуть привычное равновесие, вновь обрести то состояние, в котором вообще не надо принимать никаких ответственных решений.

В те минуты Анатолий еще ничего толком не знал. Не знал, в самом ли деле близко немцы, не знал, как добраться до Ленинграда, не знал, как поведет себя в дальнейшем Вера...

Но самым главным из того, чего он еще не знал, был он сам, Анатолий. Ибо всю свою сознательную жизнь привык считать себя смелым, стойким, способным руководить людьми. Но сейчас, впервые в жизни оказавшись в сложной, опасной ситуации, он вдруг понял, что не в состоянии принять ни одного разумного решения, и мечтал лишь о том, чтобы все каким-то чудом само собой изменилось, стало бы на свои старые, привычные места...

— Почему он ушел от нас? — снова спросила Вера.

— Ну... откуда я знаю? Может быть, у него тут есть еще знакомые.

— А почему он сказал, что мы не должны знать друг друга? Ну, в случае...

Он прервал Веру, чтобы не дать ей возможности договорить эту фразу до конца:

— Просто элементарная предосторожность. В таком случае всегда лучше, чтобы один... не тянул за собой другого.

— А ты думаешь... что такой случай... возможен?

— Я ничего не думаю, — уже с некоторым раздражением заявил Анатолий. — Просто ты меня спросила, я и ответил.

Вера пристально посмотрела на него, и хотя в полумраке Анатолий не мог разглядеть выражения ее глаз, он почувствовал, что она смотрит на него со страхом и укоризной.

Ему стало стыдно. Он обнял Веру и сказал:

— Не надо волноваться, ну не надо! Я уверен, что все приключение окончится благополучно.

— Ты... не бросишь меня?

Вопрос был неожиданным. Но уже через мгновение Анатолий понял, что стал сейчас для Веры единственной надеждой, главной опорой. Ему было жалко ее, и вместе с тем он был горд от сознания, что играет такую большую, такую решающую роль в жизни другого человека.

Он крепче и крепче обнимал Веру и думал о том, что теперь уж никогда не бросит ее, сделает все для того,чтобы защитить ее от любой угрозы любой ценой, даже ценой жизни. И чем больше он думал об этом, тем сильнее верил в себя, в свои силы, в свою решимость противостоять всему тому, что может с ними произойти.

Это чувство переполняло Анатолия и наконец вырвалось наружу.

— Верочка, родная моя, ничего не бойся, я всегда буду с тобой, — говорил он, и слова сами срывались с его губ. — Мы всегда будем вместе — и здесь и там, когда вернемся. Я только теперь понял, что́ ты для меня значишь! Да, ты была права там, в Белокаменске, когда говорила... ну, ты помнишь?.. Это верно, я и сам тогда не понимал, что люблю тебя, думал, что это так, временно... Но теперь я знаю, на всю жизнь знаю, что другой не будет, что мы будем всегда вместе, а когда я уйду на фронт, ты будешь ждать, а я буду тебе писать, каждый день писать.

Он говорил бы еще и еще, но в этот момент за дверью послышались чьи-то тяжелые шаги и скрип лестницы.

Вера отпрянула от Анатолия, и он сам подался вперед в тревожном ожидании, однако облегченно вздохнул, когда дверь открылась и он увидел на пороге Жогина.

Пригнувшись, чтобы не задеть головой за низкую притолоку, он шагнул на чердак и сказал:

— Вот... поесть вам принес. — Он поставил на пол глиняный кувшин и протянул Анатолию большой ломоть хлеба. — Молоко и хлеб. Крестьянская еда. Обед сегодня не варим. Не до обеда тут...

Анатолий молча взял хлеб.

Вера привстала на коленях и робко спросила:

— Что-нибудь случилось? Вы узнали что-нибудь... плохое?

Жогин ответил не сразу. Он потоптался в дверях и потом сказал:

— А это, барышня, трудно наперед сказать. Плохое, хорошее — оно ведь для разных людей по-разному считается. Скажем, кошка с мышкой играет, кошке — радость, мышке — слезы. Так ведь оно на свете-то все выходит!

Он помолчал.

И Анатолий и Вера ждали от него еще каких-то слов, объяснений, но вместо этого Жогин сказал:

— Так, значит, уговор старый. Сидеть тихо. А если по нужде — ногой в пол стукнете. Три, скажем, раза.

Он повернулся и шагнул за порог, опять-таки плотно прикрыв за собой дверь. Заскрипела лестница.

— Странно, — вполголоса произнес Анатолий, — все как-то очень странно...

— Поешь, Толя, — тихо сказала Вера.

Он отмахнулся.

— Нет, ты обязательно поешь! — настойчиво повторила Вера. — Так можно совсем ослабнуть. Не забудь, ведь ты после болезни.

Анатолий пожал плечами, механически отщипнул от ломтя хлеба небольшой кусочек и положил его в рот. Хлеб был свежий и вкусный. Он впервые за долгое время почувствовал, что голоден. Взял высокий глиняный кувшин с узким горлом и сделал несколько глотков. Молоко было теплым и чуть сладковатым. В течение нескольких минут он с аппетитом ел хлеб, запивая его молоком.

Когда чувство голода стало постепенно исчезать, Анатолий вспомнил о Вере.

— Теперь ты, — сказал он, протягивая ей кувшин. — Ну, без разговоров...

Она покорно взяла кувшин обеими руками, поднесла ко рту и сделала глоток.

Потом поставила кувшин на пол и виновато сказала:

— Мне не хочется, Толя... Ну совсем ничего не хочется. Ни есть, ни пить.

— Но как это возможно? Ты не ела почти сутки!

Она не ответила на его вопрос — то ли не придала ему значения, то ли не расслышала.

Наконец она сказала медленно, как будто сама удивляясь своим словам, своей догадке:

— А ведь я понимаю то, что он только что сказал... Я все понимаю. А ты?

Анатолий вздрогнул. Только что он испытал несколько минут приятного чувства сытости, и ему ни о чем не хотелось думать, а просто закрыть глаза и тихо сидеть или дремать, забыв обо всем.

— Ты хочешь сказать, что... — начал было он.

— Да, да, Толя, я именно это хочу ска-

зать, — твердо произнесла Вера. — Он знает что-то, этот Жогин. Только я боялась его спросить прямо так, напрямик.

— Но... но как же это может быть! — воскликнул Анатолий и вскочил на ноги. — Ведь если и в самом деле... они... ну, они... — он запнулся, боясь произнести вслух это слово — «немцы», — если они где-то здесь, то как он может быть так спокоен?! Ведь он же советский колхозник, для него они не менее опасны, чем для нас?!

Вера молчала.

— Нет, ты ошиблась, — уже более спокойно продолжал Анатолий. — Просто у этого Жогина такая иезуитская манера говорить. Какими-то темными намеками. К тому же, мне кажется, он слегка подтрунивает над нами. Ну, знаешь, городские ребята, привыкли к комфорту... А он — от земли, крестьянин от сохи, как раньше говорили.

— Сядь, Толя, я хочу, чтобы ты был рядом.

Он послушно снова опустился на тюфяк.

— Я хочу сказать тебе одну вещь, — по-прежнему отрешенно произнесла Вера. — Я поняла наконец, что я сейчас чувствую. Это четвертое измерение.

— Что? — удивленно протянул Анатолий.

— Да, да. Я не помню, где это я читала, Герберт Уэллс? Или... Ну, про зеленую калитку. Мальчик вдруг увидел калитку в стене. Вошел — и очутился в другом мире. Совсем в другом. А потом вернулся. А когда снова хотел пойти туда, калитки уже не было. Ничего не было.

— Не понимаю, какая связь... — недоуменно начал было Анатолий, но Вера прервала его:

— Ну как ты не понимаешь? Ведь это так просто! Значит, он есть, этот мир! Был и есть. Всегда есть. Где-то рядом. Совсем иной. Только там, в рассказе, он светлый, хороший. А вот мы оказались в другом. И кажется, что наш мир, ну тот, в котором мы все время жили, тоже где-то тут, рядом, а войти в него нельзя. Ни стены, ни забора нет, а вернуться нельзя.

Анатолий пожал плечами и сказал недовольно:

— Нашла время философствовать. Тот мир, этот... Я тебе сказал, что очень скоро мы будем в Ленинграде.

— Ты веришь в это?

— Перестань! — крикнул Анатолий и снова вскочил.

Ему хотелось какими-то словами, движением развеять, прогнать вновь охватившее его чувство тревоги. Он стал быстрыми шагами ходить взад и вперед по шуршащему под его ногами сену.

— Послушай! — сказал он наконец, останавливаясь перед Верой и сознавая, что не в силах преодолеть охватывающий его страх. — Если ты думаешь... если ты уверена, что... они могут прийти сюда, то нам надо что-то предпринять!.. Это глупо сидеть здесь и ждать, пока... ну, пока они придут, ты понимаешь, глупо! — Он говорил громко и с раздражением, как будто из-за нее, из-за Веры, они оказались тут и она причиной того, что им приходится здесь скрываться. — Я не намерен прятаться тут, как мышь! Это чушь, какая-то нелепость: быть в каких-нибудь ста километрах от Ленинграда и...

— Ты предлагаешь идти? — прервала его Вера.

— Да, конечно! Сейчас, немедленно!

— Но куда мы пойдем? Направо, налево? Прямо?

— Мы не маленькие! Есть люди, мы можем спросить дорогу.

— А если мы попадем... к ним?

На мгновение Анатолий представил себе страшную картину, как приближаются одетые в чужую форму люди с оружием, ему показалось, что он слышит немецкую речь. Губы его пересохли, и он провел по ним языком.

— Что же нам делать? — произнес он сдавленным голосом.

— Сядь, Толя, — сказала Вера. — Я же говорила тебе, что не могу, когда тебя нет рядом. Сядь и положи голову мне на колени, ну, положи, мне так будет лучше.

Он прилег рядом и положил голову ей на колени. Юбка Веры была разорвана, Анатолий щекой своей ощутил ничем не прикрытую кожу ее ноги. Вера положила руку ему на голову и стала медленно перебирать его волосы.

— Все будет хорошо, Толя, все будет хорошо, — каким-то монотонным, баюкающим голосом повторяла она, и все это — ощущение живой, теплой кожи, к которой прикасалась его щека, звук Вериного голоса, слова, которые она произносила, — успокаивало Анатолия. — Нам надо дождаться ночи, — все так же спокойно, как будто говоря о чем-то само собой разумеющемся, негромко говорила Вера. — Уж если идти, то лучше, когда стемнеет. А может быть, к тому времени уже все будет ясно... Я убеждена, что скоро придет Жогин и скажет, что кругом спокойно и мы можем выходить.

— Ты сама не веришь своим словам, — сказал Анатолий, но больше для того, чтобы побудить ее продолжать.

— Нет, нет, я верю! Разве я не понимаю, что ты волнуешься из-за меня, но скрываешь это? Я знаю, что без меня ты был бы совершенно спокоен. Вот тогда, в поезде, действительно надо было волноваться: ведь мы могли погибнуть. А теперь?.. Ну, посидим еще час, еще два, и все кончится...

Она говорила и говорила, тихо повторяя все эти мирные, успокаивающие слова, и Анатолий почувствовал, как его охватывает дремота.

Он ощутил страшную усталость, тяжелый груз в ногах и закрыл глаза...

Анатолий проснулся, точно кто-то изнутри сильно толкнул его. Было совершенно темно.

— Вера! — громко крикнул он, охваченный тревогой.

— Тише! — услышал он в ответ.

Он торопливо приподнялся, вытянул руки и коснулся ее плеча. Она сидела, плотно прижавшись спиной к стене.

— Я... кажется, заснул, — невольно снижая голос, сказал Анатолий. — А ты? Ты тоже спала?

— Да, — шепотом ответила Вера. — Слушай...

И тогда он услышал гул. Тот самый глухой, металлический, урчащий гул, который слышал еще там, в лесу. Он был далекий, будто доносился откуда-то из глубины, из недр земли.

Некоторое время они сидели молча, застывшие, боясь шелохнуться.

Потом до них донеслись звуки выстрелов. Эти звуки сначала были далекими, похожими на взрывы рождественских хлопушек. Прошло еще несколько мгновений, и где-то застрекотал пулемет, только они не сразу поняли, что это пулемет, и с напряжением вслушивались в похожее на звук трещотки, на частую барабанную дробь стрекотание.

Внезапно между досок, которыми было забито окно, возникли полоски света. Они не были похожи на дневной свет, а скорее на линии, проведенные красным карандашом.

И Анатолий и Вера напряженно, как загипнотизированные, всматривались в эти полоски, пока они не погасли, но уже через секунду возникли другие, на этот раз зеленые, и где-то вдали снова раздались похожие на барабанную дробь звуки.

Внезапно Анатолий бросился к окну и, ухватившись за одну из досок, стал отдирать ее.

— Что ты делаешь, Толя, зачем?! — воскликнула Вера и, вцепившись в плечо Анатолия, старалась оторвать его от окна.

— Я должен, я должен посмотреть, — повторял Анатолий, сбрасывая Верину руку со своего плеча. Он с силой пытался отодрать одну из досок, а когда она чуть подалась, просунул пальцы в образовавшуюся щель и ломая ногти, раздирая в кровь руки, тянул на себя доску. Наконец доска подалась, он рванул ее, она со скрипом отлетела, и в окне образовалась широкая щель.

Они оба прильнули к ней и замерли при виде открывшегося им зрелища. По небу, медленно взбираясь вверх, ползли разноцветные линии — красные и зеленые, точно кто-то невидимый гигантским карандашом вычерчивал их на темном небосклоне.

— Что это, Толя, что это? — прошептала над его ухом Вера.

Анатолий молчал. Он сам не знал, что это такое, никогда раньше не видел ничего подобного.

В этот момент они услышали новый звук, будто где-то далеко, в высоте, лопнул детский воздушный шар, только очень большой, и внезапно все озарилось белым, призрачным светом.

Теперь они видели все: деревянные дома с темными, плотно завешенными изнутри окнами на противоположной стороне улочки, подсолнухи в палисадниках, колодец с журавлем, лес, в котором можно было различить каждое деревцо...

Анатолий и Вера отпрянули от окна, потому что им обоим показалось, что они вот так же видны отовсюду, как и эти дома, колодец, и ведро, подвешенное к задранному над колодцем журавлю, и деревья, но в это мгновение свет в небе погас, все погрузилось в темноту, и снова послышались далекие выстрелы и глухое металлическое урчание.

— Это они, Толя, это они! — прошептала Вера, крепко прижимаясь к Анатолию.

Он попытался овладеть собой и сказал:

— Почему именно «они»? Может быть, это наши!

— Нет... нет, это они, — с трудом выговаривая слова, повторила Вера.

Анатолий снова прислушался. Но теперь все как-то разом стихло. Не было слышно ни рокота танков, ни выстрелов.

— Ну вот видишь, — с трудом сохраняя свой назидательный тон, произнес Анатолий, — все успокоилось. Наверняка это наши заканчивают разгром этих...

Вера молчала. Она по-прежнему крепко держала Анатолия за руку, притягивая к себе, боясь хоть на мгновение потерять ощущение его близости.

Еще две, три, пять минут прошли в полной тишине.

И в эти долгие, бесконечные минуты перед Верой прошла вся ее жизнь. Это была короткая, ничем не примечательная жизнь обыкновенной советской девушки, но теперь она показалась Вере такой необычной, светлой, радостной и такой же невозвратимой, как детство, как огромная, вся в огнях и блестках елка во Дворце пионеров... И все, что она делала в той, ставшей внезапно недостижимо далекой и прекрасной жизни, — хотя Вера жила ею еще только вчера, — наполнилось для нее огромным смыслом. Пионерские сборы и комсомольские собрания, даже те, что раньше казались Вере скучными, малозначительными, вспомнились ей теперь как очень важные, без которых она не могла бы существовать. Лица институтских преподавателей, фасад дома, где она жила, аккуратно сложенная, еще пахнувшая типографской краской газета, ожидавшая отца на столе, уже накрытом для завтрака, первомай-

ские и ноябрьские демонстрации, та покачивающаяся на волнах лодка, в которой стоял Анатолий, — все это в беспорядочной последовательности, но необычайно ярко проплыло в сознании Веры.

А потом все смешалось, потеряло рельефность, сохраняя лишь смутные очертания, точно воспоминания о только что виденном и уже полузабытом сне, который бесполезно стараться восстановить в памяти. Но хотя расплылись краски, поблекла такая яркая, такая жгуче-зеленая трава, серой дымкой подернулось бездонное, ярко-голубое небо, все же то, что ты видел во сне, еще стоит перед тобой смутным видением и зовет туда, в, казалось бы, такой близкий, но, может быть, навсегда потерянный мир. Таким миром был сейчас для Веры родной Ленинград. Он точно плыл перед нею в белой ночи, похожий на гигантский воздушный корабль, со своими шпилями-мачтами, палубами-набережными, удаляясь все дальше и дальше.

А потом все исчезло, все закрыл мрак, и Вере показалось, что теперь тысячи неизведанных километров отделяют ее от мира, в котором она жила. Как вернуться туда, куда идти? Если бы знать!

Но она не знала. Вере казалось, что от той, единственно возможной для нее жизни ее отделяет глухая стена, и единственная живая связь с прошлым заключалась теперь в Анатолии.

— Ты знаешь, что это было такое? Ну, вот эти разноцветные огни в небе? — спросила наконец Вера.

— Нет. Видимо, какая-нибудь условная сигнализация.

— А мне теперь кажется, что это и был тот мир... ну, тот, невидимый, который рядом с нами... Толя! — Внезапно она с еще большей силой притянула его к себе. — Мне все время кажется, что мы никогда, никогда не вернемся!

— Замолчи!

— Нет, я не буду молчать! Может быть, это и есть последние часы, последние минуты, когда мы вместе! Зачем же ты велишь мне молчать? Молча сидеть и ждать? Зачем?

— Но что же ты хочешь... — начал было он, но Вера прервала его:

— Нет, нет, ты ничего не говори, ты молчи, я буду говорить, я... Мне надо тебе так много сказать, так много... Я хочу, чтобы ты знал, если нам придется не быть вместе, — ну, не быть! — что ты был самым дорогим для меня, самым любимым, и самой моей большой ошибкой было то, что я боялась своей любви, боялась тебя, не верила, что ко мне придет счастье, а теперь мне жалко, жалко себя, и я все время спрашиваю себя, для чего же, для чего же, для чего...

Она хотела еще что-то сказать, но в этот момент тишина точно разом раскололась, все вокруг наполнилось каким-то шумом, треском...

Анатолий бросился к окну и, прильнув к щели, увидел, что по улочке мимо дома мчатся, освещая путь яркими фарами, мотоциклы и в них сидят люди в металлических шлемах, в серо-зеленой, незнакомой форме.

— Это они, Вера, это... немцы! — в ужасе крикнул Анатолий, отпрянул от окна, отбежал к стене и застыл, прижавшись к ней спиной.

...Он не помнил, сколько времени пробыл в оцепенении — минуту, десять минут, полчаса. Только спустя какое-то время он вновь явственно услышал доносившиеся откуда-то снизу громкие немецкие выкрики, мотоциклетные выхлопы, детский плач.

Прошла еще минута, другая, и немецкая речь послышалась совсем рядом, затем раздался стук в дверь, там, внизу, под полом, шум, топот ног и скрип лестницы.

Внезапно дверь распахнулась, белый свет фонаря ударил Анатолию в глаза, он зажмурился, а когда снова открыл их, то увидел, что рядом, в двух шагах от него, стоят люди в металлических шлемах.

Тот, что стоял впереди, направил луч фонаря на Веру. Она сидела, сжавшись в комок, запрокинув голову, и луч шарил по ней, перебегая с голых ног на лицо и с лица снова на ноги, точно жаля ее своим острым лезвием. Кто-то из немцев рассмеялся, потом они заговорили все вместе, и речь их сливалась в единый, чужой, пугающий рык; затем тот, что стоял впереди, огромный, широкоплечий человек, передал свой фонарь другому, стоящему рядом, и сделал быстрый шаг по направлению к Вере.

Сам не сознавая, что делает, Анатолий вскочил и бросился наперерез немцу, но тот, даже не взглянув на него, ударом ноги отбросил его в сторону, и он покатился по полу, задыхаясь от боли.

Анатолий снова закричал, превозмогая страшную боль в паху, поднялся, но тут же двое немцев схватили его, вывернули руки за спину и потащили к двери.

...Анатолия проволокли по улице, рывком подняли на двухступенчатое резное крыльцо, а потом втолкнули в комнату.

Сначала Анатолий инстинктивно зажмурился от яркого света, а когда снова открыл глаза, то увидел прямо перед собой у противоположной стены стол, за которым сидел высокий светловолосый немец в военной форме. На пустом столе лежала фуражка с высокой тульей. По обе его стороны стояли другие немцы в такой же форме.

Это зрелище заставило Анатолия забыть о Вере. Ненависть к немцам, смешанная со страхом, мысль о необходимости стойко держаться, ощущение собственной беспомощности, беззащитности, стремление наметить какую-то определенную линию поведения — все это мгновенно овладело всем существом Анатолия.

В тот же момент один из немцев, невысокий, полный, с веснушками на лице, сказал, обращаясь к Анатолию:

— Сделайт три шаг вперед!

Анатолий не сразу понял, что это относится к нему, и продолжал стоять неподвижно. Но в ту же минуту его кто-то с силой толкнул сзади, он сделал несколько спотыкающихся шагов в глубь комнаты и упал, не дойдя до середины.

— Вставайт! — крикнул веснушчатый немец.

Анатолий медленно поднялся. Взгляд его случайно остановился на фуражке, одиноко лежащей на пустом столе. Она показалась ему невероятно большой, каким-то живым, нахохлившимся, раздутым существом, похожим на жабу. Она точно гипнотизировала его, он уже не мог оторвать от нее глаз.

— Смотреть на господин майор! — снова раздался голос веснушчатого немца.

Это было как раз в тот момент, когда Анатолий, напрягая зрение, пытался разглядеть эмблему под задранной вверх тульей фуражки и наконец разглядел — орла со свастикой в когтях, — поэтому он не сразу выполнил приказ и не сразу понял, кто из этих людей является майором. Но долго раздумывать ему не пришлось. Кто-то невидимый сзади вытянул руку и, подставив широкую ладонь под подбородок Анатолия, коротким движением вскинул его голову.

— Сидящий за стол официр есть майор Данвиц, — старательно выговаривая слова, снова заговорил веснушчатый. — Он приказывает говорить тебе одна правда. Иначе расстрел. Ты поняль? Расстрел!

Все эти слова донеслись до Анатолия как бы издалека. Все, кроме одного слова «расстрел». Это слово прогрохотало в его ушах. И если всего лишь несколько мгновений назад Анатолий хотя и безотчетно, почти бессознательно, но все же думал о том, как ему выстоять, как достойно держаться перед врагом, как остаться таким, каким он всегда представлял себя в воображаемый грозный час, то теперь все заслонило чувство страха. Анатолий понял, что сейчас его убьют, что пройдет совсем немного времени — и все кончится, его больше не будет на свете.

— Нет, нет! — громко крикнул он. — Я буду говорить правду. Я говорить правда! — повторил он, сам не замечая, что коверкает слова, подражая веснушчатому немцу.

Веснушчатый склонился к плечу сидящего за столом офицера и что-то тихо ему сказал. Тот, не поворачивая головы, ответил.

— Ты знайт этот человек? — снова обратился к Анатолию веснушчатый.

Анатолий растерянно обвел взором стоящих у стола немцев.

— Смотреть там! — приказал веснушчатый и вытянул свой длинный указательный палец.

Анатолий обернулся и увидел Кравцова. Он стоял у стены, недалеко от двери, опираясь на ту самую палку, которую тогда, в лесу, сломал для него Анатолий. Лицо Кравцова было в крови. На мгновение их взгляды встретились, и Анатолию показалось, что Кравцов глядит на него дружески, даже ободряющей улыбкой. В двух шагах от Кравцова, у самой двери, стоял Жогин, опустив свои длинные, почти достигающие колен руки.

Анатолий снова перевел взгляд на Кравцова и вдруг ощутил чувство облегчения от сознания, что Кравцов как бы одобряет его, Анатолия, стремление жить, приказывает ему выжить во что бы то ни стало.

И если минуту назад чувство страха безотчетно смешивалось в сознании Анатолия с чувством стыда оттого, что он не может, не в состоянии побороть этот страх, то теперь мысль его заработала с удивительной ясностью. Он хотел жить, только жить. Ему представилось, что он попал на дно страшного, темного, сырого колодца, но высоко вверху виден клочок голубого неба. Оно было, оно существовало, это небо, и Анатолий был готов ползти, лезть по скользким, покрытым слизью и плесенью стенам колодца, чтобы только выбраться наверх. Он был готов просить, умолять... И ему не было от этого стыдно, потому что мысль о том, что он действует как бы заодно с Кравцовым, с его одобрения, избавляла его от чувства стыда.

Он снова обернулся к столу, но в этот момент майор, сидевший на стуле, встал и вышел из-за стола. Он был высок ростом и очень тонок в туго перетянутой ремнем талии. Майор не спеша подошел к Анатолию. Веснушчатый следовал за ним по пятам. Двое стоявших у стены солдат приподняли свои черные автоматы.

Веснушчатый повернул Анатолия снова лицом к Кравцову. Теперь они стояли друг против друга, а майор и веснушчатый переводчик — чуть в стороне.

— Ты знайт этот человек? — спросил переводчик и вытянул палец в сторону Кравцова.

— Мы... мы в поезде встретились... — невнятно ответил Анатолий, — вместе ехали... случайно.

Он нерешительно взглянул в глаза Кравцову, и ему снова показалось, что тот смотрит на него сочувственно, даже поощряюще.

— Да, да, в поезде, — уже твердо повторил Анатолий. — А когда был налет и вагон загорелся, то побежали. Потом столкнулись в лесу. Совершенно случайно.

Он вдруг почувствовал, что ему стало легко говорить.

— Ты знайт, кто он есть такой? — снова спросил переводчик и опять вытянул свой длинный палец, указывая на Кравцова.

— А черт его знает, кто он такой! — поспешно ответил Анатолий, снова удивляясь тому, что голос его звучит так естественно и непринужденно.

— Они в лесу были, ваше благородие, все вместе, — вдруг заговорил молчавший до сих пор Жогин и сделал небольшой шаг вперед. — Все вместе, — повторил он. — Эти двое и девка.

— Ну, конечно, — поспешно прервал его Анатолий, — я и говорю: мы вместе ехали...

— Кто есть девка? — резко прервал веснушчатый, снова обращаясь к Анатолию.

В этот момент один из немцев, что привели сюда Анатолия, подошел к переводчику и сказал ему что-то тихо, но с улыбкой на лице. Переводчик тоже улыбнулся, тихо воскликнул: «О-о!» Но для Анатолия все это произошло как бы в тумане, он думал только о том, как убедить немцев, что говорит правду.

— Мы в поезде, в поезде познакомились, я же говорю, — снова повторил Анатолий, — а потом вместе бежали. Мы...

Он осекся и со вновь охватившим его страхом подумал о том, что может сказать на допросе Вера, помнит ли она, что должна отрицать свое предварительное знакомство с ним, Анатолием.

— Продолжайт! — приказал веснушчатый.

— Да, да, конечно, — готовно сказал Анатолий, ободренный тем, что ему разрешают говорить. — Я на каникулы ездил, в Белокаменск, понимаете? А она — ее Верой зовут — тоже там была, понимаете? Только мы раньше друг друга не знали, в поезде познакомились... народу, понимаете, в вагоне было битком, и мы случайно на одной полке оказались...

— Кто ты есть?

— Я? Я студент, обыкновенный студент, — торопливо отвечал Анатолий. — Учусь в Ленинграде, в институте, на третьем...

— Болшевик? Комсомол? — прервал веснушчатый.

— Нет, что вы! — воскликнул Анатолий.

Веснушчатый что-то сказал майору, и тот что-то ответил ему, затем подошел к Анатолию и, слегка дотронувшись до его плеча, сказал:

— Ка-ро-шо.

Это слово показалось Анатолию самым желанным, самым лучшим из всех слов, которые он когда-либо слышал в жизни. Ему почудилось, что недосягаемый минуту назад клочок голубого неба приблизился.

Но он ошибся. Майор, который только что благожелательно потрепал его по плечу, неожиданным движением ударил Анатолия тыльной стороной руки под подбородок и что-то быстро проговорил, словно прокаркал.

— Господин майор утверждаль, что ты есть лгун, — сказал переводчик. — Ты из одной шайки с этот чекист. Ты есть его помощник.

— Но я... но я... Кто чекист? — с отчаянием выкрикнул Анатолий. Он боялся смерти, и страх перед нею придал его восклицанию оттенок подлинной недоуменной беспомощности.

И тогда снова заговорил Жогин. До сих пор он неподвижно стоял у двери, держа в обеих руках смятую кепку. И в том, как он стоял — опустив плечи и угодливо склонив голову, в том, как слегка перебирал своими большими, толстыми пальцами кепку, держа ее на уровне живота, было для Анатолия что-то новое, не знаемое ранее. Он лишь в театре видел подобных людей, стоящих в такой вот покорной позе, видел их на сцене, в классических пьесах, — старые, дореволюционные крестьяне пришли на поклон к помещику... И хотя все чувства Анатолия были в смятении, он невольно, автоматически отметил это странное, театральное превращение Жогина.

— Значит, не знаете, юноша, Кравцова-товарища? — тихо, елейно произнес Жогин. — А нам вот он хорошо известен. На всю жизнь запомнили. С тех пор, как он нашего брата на телеги сажал и в путь дальний благословлял. Десять лет прошло, а мы помним...

Он перевел взгляд на стоявшего неподвижно Кравцова и продолжал:

— А ты, гражданин начальничек, гепеушник проклятый, помнишь? Как бабы наши голосили, как детки малые за телегами бежали? — Голос его окреп и стал громче: — Как руки мне вязал, когда я на тебя с топором пошел, как добро мое по твоему указу из избы на колхозный двор волокли, не забыл?

Он сжал свою кепку в руках так сильно, что стали видны вспухшие вены, и сделал шаг по направлению к Кравцову.

— Хальт! — крикнул майор, и Жогин застыл на месте.

Анатолий почувствовал, как все его тело охватывает дрожь. Он с ужасом сознавал, что между Кравцовым и этим налитым яростью бородатым человеком существует страшная, непримиримая вражда и что эта вражда как-то распространяется и на него, Анатолия, делая его положение еще более безнадежным. И в этот момент снова встретился взглядом с Кравцовым.

Теперь на окровавленном лице Кравцова ничего нельзя было различить, кроме глаз, но глаза эти глядели на Анатолия по-прежнему твердо и ободряюще. И тогда он воскликнул, обращаясь к веснушчатому, плача и захлебываясь словами:

— Но, господин офицер, господин офицер, поверьте, поверьте мне, я не лгу, не лгу, я ничего не знал об этом человеке, я его впервые увидел в поезде! И если он чекист, я ненавижу его, поймите, я не могу быть с ним, ведь они расстреляли моего отца, расстреляли, я не лгу, я говорю правду, правду, правду!..

Майор с некоторым недоумением посмотрел

на веснушчатого и, когда тот стал быстро говорить по-немецки, удивленно приподнял брови.

Закончив перевод, веснушчатый снова обернулся к Анатолию.

— Когда был расстрелян твой отец? — спросил он отрывисто, глядя Анатолию прямо в глаза.

— Вы поймите, поймите, — все еще всхлипывая, сказал Анатолий, — я не могу точно сказать. Но я знаю, от дяди знаю, это было во время революции. В восемнадцатом, кажется... Они его в заговоре обвинили... в офицерском заговоре... Я потом в детском доме рос... я...

— Как есть твой фамилий? — по-прежнему резко и угрожающе перебил его веснушчатый.

— Авилов, Авилов! — поспешно ответил Анатолий. — Я бы вам и документ показал, но в поезде осталось, ведь налет был, все загорелось...

— Интересный ситуаций, — уже мягче и как бы про себя произнес веснушчатый. Затем он стал что-то быстро говорить по-немецки майору. Тот слушал молча, потом бросил несколько отрывистых фраз.

— Господин майор говорит, что ты все это враль, — сказал веснушчатый, — ты есть молодой чекист!

— Нет, нет! — закричал Анатолий. — Я ненавижу чекистов, я их убить готов, я не могу быть чекистом, я...

Он захлебнулся, не находя больше слов.

Они начали говорить между собой — майор и переводчик.

«О чем, о чем они говорят? — с ужасом повторял про себя Анатолий. — Ну почему я не понимаю этих слов, ведь я же учу немецкий в институте, но ничего не понимаю, боже, наверное, они хотят меня расстрелять! Как по-немецки «расстрелять»? Кажется, «erschießen». Он стал мучительно вслушиваться в немецкую речь, со страхом ожидая, что будет произнесено страшное слово, но все слова были незнакомыми.

И вдруг он вздрогнул, как от ожога. Майор произнес именно это слово. Да, да, он сказал «erschießen». Это значит, что его расстреляют. Немедленно, сейчас!..

— Слюшай, — сказал веснушчатый, — мы делаем тебе маленький испытаний. Ты говоришь, что есть сын царский офицер Авилов?

— Да, да!

— И ненавидишь люди из Чека?

— Ненавижу!

— Тогда немецкий армия дает тебе хороший возможность отомстить за твой отец. Стреляй этот человек.

И с этими словами веснушчатый отстегнул кобуру, висящую у него на правом боку, вынул пистолет и с улыбкой протянул его Анатолию. Тот почти механически взял пистолет и чуть не уронил его на пол. Он был очень тяжелый, с длинным стволом и широкой ребристой рукояткой.

Анатолий со страхом посмотрел на пистолет, потом на веснушчатого. Но тот, видимо, неправильно истолковал его взгляд. Он сказал:

— Это есть парабеллум, немецкий оружий. Это есть автомат. Ничего не надо делайт. Только нажимай палец и... пафф!

И, вытянув по направлению Кравцова указательный палец, он одновременно щелкнул языком.

Анатолий стоял в оцепенении, держа обеими руками тяжелый, холодный пистолет. Только в эту минуту он осознал наконец, что от него требуют. «Нет, нет, никогда! — мысленно воскликнул Анатолий. — Надо сделать другое, совсем другое, направить пистолет на того, на майора, и нажать спуск...» Но в ту же секунду он подумал о том, какая судьба ожидает его, если он сделает это. И ему захотелось бросить пистолет и бежать, кинуться к двери или прыгнуть в окно, все равно куда, только бежать!

Но бежать было некуда. У двери стояли солдаты, окно было закрыто.

На лбу Анатолия выступил холодный пот, когда он подумал, что был бы уже мертв, если бы сделал хоть один шаг в сторону.

— Schnell! — резко, точно подстегивая Анатолия кнутом, крикнул майор.

Анатолий тупо смотрел перед собой, все еще держа пистолет в опущенной руке.

Майор произнес несколько немецких фраз, и веснушчатый следом за ним сказал, обращаясь к Анатолию:

— Ты есть негодный лгун. Ты не есть сын царский офицер. Господин майор приказал взять пистолет назад. А тебя — расстрелять. Дай!

И он протянул руку.

— Нет, нет! — воскликнул Анатолий, отшатываясь от протянутой руки. И, сам не сознавая, что делает, рывком поднял пистолет на уровень груди и повернулся к Кравцову.

И в этот момент Кравцов откинул назад голову и сказал хриплым, лающим голосом:

— Ну, стреляй, сволочь, стреляй! Я и не знал, кто ты есть такой, белогвардейский последыш! Стреляй, офицерский ублюдок! Давай бей, слизняк проклятый!

Анатолий с ужасом вслушивался в его слова. Это были самые презрительные, самые оскорбительные слова, которые могли бы быть адресованы советскому человеку. Анатолию казалось, что его бьют по лицу тонкой, рассекающей кожу плетью. Он испытывал физическую боль после каждого не произнесенного, нет, казалось, выплюнутого Кравцовым слова. Ему захотелось крикнуть сейчас, немедленно, что все это ложь, ложь, что он никогда не был и не будет белогвардейским последышем, что он честный советский человек, комсомолец...

Но он тут же сам испугался своего желания, потому что выполнение его означало бы для него смерть. В первые мгновения, ошеломленный, он даже забыл обо всем, что ему было сказано там, в лесу. А когда понял, что Кравцов продолжает игру, страшную игру не на жизнь, а на смерть, и что в этой игре для него, Анатолия, заключено возможное спасение, то сразу почувствовал облегчение. Он стоял с поднятым, направленным на Кравцова пистолетом, а тот говорил, не умолкая:

— Трус, заячья душонка, пальцем шевельнуть боишься! Дали бы мне возможность, я бы тебя и без пистолета прикончил! Ну, чего ждешь, слизняк, ублюдок паршивый?..

«Что мне делать, как надо поступить, как?!» — стучало в висках Анатолия, и он незаметно для самого себя все крепче и крепче сжимал рукоятку пистолета, инстинктивно чувствуя, что именно в нем заключено его спасение. А Кравцов не унимался. Он отбросил в сторону свою палку, сделал шаг вперед, ближе к Анатолию, вытер рукавом кровь с лица и продолжал, казалось, с еще большей злобой:

— Ну бей, спускай курок, тебе же приказали!..

Он, шатаясь, подался вперед — казалось, вот-вот упадет, и посмотрел на Анатолия в упор. Взгляды их встретились, и Анатолию представилось, что где-то в глубине окруженных кровоподтеками и ссадинами, полуприкрытых опухшими веками глаз Кравцова затаилась какая-то невысказанная мольба.

Но это не была мольба о жизни. Анатолию показалось, что Кравцов глазами своими, плотно сжатыми, рассеченными губами будто говорит ему: «Стреляй, ну, стреляй, Толя, не бойся! Другого выхода нет. Так надо. Это я тебе приказываю. Не бойся, стреляй!»

В этот момент Анатолий уголком глаза увидел, как стоящий несколько в стороне майор медленно расстегнул кобуру и вытащил из нее маленький, поблескивающий перламутровой отделкой пистолет. Он направил его на Анатолия и громко произнес:

— Schnell!..

И в ту же минуту Анатолий зажмурил глаза, рука его задрожала, и он, не целясь, не зная, куда стреляет, с отчаянием нажал на спуск своего пистолета.

Грянул выстрел, отдача была настолько сильной, что Анатолий выронил пистолет.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Кравцов лежит на полу, широко раскинув ноги. Анатолий с ужасом смотрел на лежащего человека. Он не ощущал, не сознавал какой-либо связи между только что прозвучавшим выстрелом и тем, что видел сейчас, — он только смотрел остекленевшими глазами, но уже не на Кравцова, а прямо перед собой, боясь наклонить голову.

— Плохо стреляйт! — крикнул веснушчатый, и на этот раз его слова вызвали у Анатолия подлинную радость. «Я не убил его, не убил, даже не ранил! — с радостью, с облегчением мысленно воскликнул он. — Он упал по какой-то другой причине: не выдержала или сломалась его палка или просто от усталости и боли подогнулись ноги, но это не я, не я!»

И в этот момент раздался голос Жогина:

— Дозвольте мне, ваше благородие! Я сумею...

И, не дожидаясь ответа, он подошел к Анатолию, поднял выпавший из его рук парабеллум, зачем-то бережно обтер его полой своей рубахи и, не спеша прицелившись в голову лежащего Кравцова, выстрелил.

XVI

Впервые за десять суток непрерывных боев с первой минуты вторжения в Россию танковых и моторизованных дивизий генерала Хепнера майор Арним Данвиц и его солдаты задержались в захудалой деревеньке, не обозначенной ни на одной из подготовленных в Германии штабных карт.

Впереди Псков. Но танки, автомашины и мотоциклы Данвица уже оторвались и от главных сил Хепнера, и от своих бензозаправщиков. Горючее у Данвица на исходе, его раздражает этот вынужденный отдых, но надо ждать...

И вот он сидит за столом в бывшей конторе колхоза «Красный луч».

Он один. Ночь. Окна комнаты плотно зашторены солдатскими одеялами: русская авиация время от времени бомбит этот район. На полу свежее кровавое пятно: с тех пор, как этот крестьянин, бывший кулак, по-немецки «гроссбауэр», застрелил чекиста, прошло совсем немного времени, труп недавно вынесли из комнаты. Повсюду валяются обрывки каких-то ведомостей, растрепанные конторские книги — все это вытряхнули из столов прямо на пол автоматчики Данвица. На стене портрет Сталина, пронзенный немецким солдатским ножом.

У дверей и окон конторы выставлены часовые. Данвиц сидит за столом, склонившись над толстой тетрадью. На первой странице написано пока одно лишь сегодняшнее число. Это дневник.

Авторучка лежит рядом.

Но прежде чем писать, Данвиц хочет собраться с мыслями. Хочет вспомнить все с той минуты, как он получил приказ явиться к генерал-фельдмаршалу Риттеру фон Леебу, командующему группой армий «Север».

...В те часы штаб фельдмаршала еще располагался на германской земле, на территории Восточной Пруссии, в нескольких километрах от советской границы, но большой штабной

автобус, выкрашенный в камуфлирующие цвета, оборудованный радиостанцией, длинным столом для карт, мягкими креслами и спальной кабиной, уже стоял неподалеку от здания штаба. В этот автобус командующий был намерен переселиться за два часа до начала военных действий.

Хотя Данвицу приходилось не раз видеть фельдмаршала в приемной Гитлера, лично он с ним знаком не был и особых симпатий к высокомерному полководцу не испытывал. Данвиц не имел реальных причин для подобной антипатии. Просто он находился под влиянием того затаенного чувства зависти, смешанной с недоверием, которое национал-социалистские круги испытывали по отношению к старому кадровому офицерству.

Правда, и для такого недоверия не было существенных причин, поскольку генералитет не только поддерживал фюрера во всех его далеко идущих планах, но и сыграл немалую роль в том, что он пришел к власти. Тем не менее эти прусские аристократы, выходцы из богатых семей, полковники и генералы, чьи отцы и деды тоже были полковниками и генералами, случалось, позволяли себе иронические замечания по адресу фюрера и его окружения. В душе эти кайзеровские офицеры были недовольны, что ныне ими командует человек без роду и племени, бывший ефрейтор. Кто из них верит, что фюрер совмещает в себе военные дарования Фридриха Великого, Наполеона и Мольтке, вместе взятых!

Однако агентура фюрера действовала безукоризненно, и, следовательно, генеральские брюзжания время от времени становились известными тем, кому знать о них надлежало.

Это и предопределило несколько настороженное отношение нацистских кругов к кадровым генералам, несмотря на то что они служили фюреру верой и правдой.

Риттер фон Лееб принадлежал именно к таким военачальникам старой формации, что не мешало ему быть не только соучастником всех военных планов фюрера, но и одним из руководителей реализации этих планов. На Западном фронте фон Лееб командовал группой армий, с его именем связывался прорыв «линии Мажино», за который он был награжден Рыцарским крестом, хотя никакого «прорыва», по существу, не было — немцы линию просто обошли.

Именно эти обстоятельства послужили причиной назначения фон Лееба командующим армейской группой «Север», перед которой Гитлер поставил задачу ударом из Восточной Пруссии с ходу овладеть Прибалтикой и во взаимодействии с финской армией захватить, а затем стереть с лица земли Ленинград.

Высокий, худощавый, несколько медлительный в движениях, пожилой фельдмаршал был не только опытным военным, но и человеком, далеко не чуждым дипломатии.

Безжалостный, властолюбивый, отнюдь не безразлично относящийся к своей репутации в руководящих нацистских кругах, он хорошо изучил характер Гитлера. Знал, что любой высший офицер, который вызывал у фюрера подозрения, уходил со сцены. Большой жизненный опыт и наблюдения последних семи лет подсказывали ему, что поколение старых генералов после того, как оно верноподданнически сыграет свою роль в осуществлении нацистских планов, постепенно будет вытеснено поколением новых военачальников — таких, как Модель, Роммель, Шёрнер и, конечно, Йодль, с самого начала связавших свою судьбу с национал-социализмом.

Риттер фон Лееб это отлично понимал. Однако, движимый логикой немецкого милитариста, ослепляемый ею, он неуклонно шел по пути, который эта логика ему диктовала.

Но при этом фон Лееб был и осторожен. Узнав, что один из адъютантов Гитлера и, как говорят, его любимец, некий майор Данвиц, прикомандирован к штабу возглавляемой им группы армий, он счел необходимым принять надлежащие меры.

В том, что этот Данвиц будет выполнять при штабе роль соглядатая фюрера, фон Лееб почти не сомневался.

Разумеется, его можно купить, назначив на более или менее высокую и относительно безопасную штабную должность. Однако сведения, полученные Леебом о Данвице, говорили и о том, что в его лице он имеет не просто очередного нацистского карьериста, заинтересованного прежде всего в званиях, орденах и собственной безопасности, но человека, так сказать, идейного, убежденного в непреложности доктрин национал-социализма и к тому же безусловно смелого. Фон Леебу доложили, что от штабной должности Данвиц отказался, сославшись на обещание, данное ему еще в штабе Йодля, — назначить его командиром одного из батальонов при вторжении в Россию.

В обычных условиях судьба какого-то майора никогда не заинтересовала бы военачальника столь высокого ранга, как фон Лееб.

Но на этот раз случай был особый... Ему, фон Леебу, самому предстояло испытать судьбу в задуманном фюрером походе...

Ознакомившись с личным делом Данвица, содержащим блестящую характеристику его политической благонадежности и отличные военные аттестации, фон Лееб принял решение, следствием которого и явился вызов майора к командующему.

Ответив на нацистское приветствие Данвица небрежным взмахом полусогнутой руки и выслушав его короткий рапорт о прибытии, фон Лееб некоторое время молчал, пристально

всматриваясь в майора. «Так, так, — думал Лееб, — этот молодой человек выглядит весьма эффектно. Хороший рост, прекрасная выправка. Если бы не несколько грубоватое лицо и отсутствие дуэльных шрамов, он мог бы легко сойти за офицера времен моей юности, выходца из хорошей прусской семьи кадровых военных... Впрочем, в его лице есть именно то, что особенно ценится именно в наши дни: блондин, тяжелый подбородок, тонкая линия губ, стальной цвет пристальных, немигающих глаз. Что ж, приступим...»

— Я решил, — начал фон Лееб, делая несколько шагов по направлению к Данвицу, — возложить на вас, майор, ответственное поручение.

Новые, тускло поблескивающие сапоги чуть поскрипывали, когда фельдмаршал двигался по паркету. Тонкие голенища плотно охватывали икры. Фон Лееб остановился в нескольких шагах от Данвица и умолк, точно желая увидеть, какое впечатление произвели на майора его слова.

Но Данвиц тоже молчал. Он стоял не шелохнувшись, придерживая за лакированный козырек фуражку, лежащую на его полусогнутой руке. Пристальным, немигающим взглядом смотрел он в лицо фельдмаршала, стараясь запечатлеть весь его облик — длинное, узкое лицо, темные круги под серыми холодными глазами, две глубокие морщины-борозды, начинающиеся по обе стороны носа и заканчивающиеся почти на подбородке, щеточку усов, край ослепительно-белого крахмального воротничка, чуть возвышающегося над воротом кителя, тускло поблескивающий Рыцарский крест.

Фон Леебу понравилось, что молодой офицер проявляет выдержку, не произносит громких фраз о своей преданности фюреру и великой Германии, еще не выслушав, в чем смысл возлагаемого на него поручения.

Он пожевал губами — фельдмаршала раздражал недавно поставленный зубной протез — и сказал:

— Не скрою, это поручение не только ответственное и почетное, но и весьма опасное. Вы ничего не хотите сказать в этой связи?

— Нет, господин генерал-фельдмаршал, — отрывисто произнес Данвиц.

— Отлично, — так же коротко сказал фон Лееб и через мгновение добавил: — Подойдемте к карте.

Он первым подошел к стене, прикрытой тяжелыми шторами, и резко потянул за шнурок, заканчивающийся пушистой кистью. Шторы раздвинулись, обнаруживая большую, укрепленную на стене карту с черными прямыми и изогнутыми стрелами.

— Здесь, — он протянул к карте указательный палец и провел по одной из стрел длинным, заостренным и чуть загибающимся на конце ногтем, — показано направление главного удара нашей группы войск. Основные силы русских на нашем участке фронта сосредоточены в Литве, Латвии и Эстонии.

Фон Лееб на мгновение обернулся к стоящему за его спиной Данвицу, убедился, что взгляд его прикован к карте, и продолжал:

— Мы прорываем оборонительные рубежи Прибалтийского округа, который большевики называют «особым»...

Он сделал паузу и, переместив свой палец на широкую черную стрелу, полукругом идущую от германской границы на юго-восток, а затем круто прочерченную на север, продолжил, чуть повышая голос:

— ...а затем, с одновременным ударом с юга, выходим сюда, к городу, который называется Остров. Я рассеку всю приграничную советскую группировку войск, а затем отрежу все, что сосредоточено в Прибалтике. Захватив же Остров, а потом Псков, мы получим полный оперативный простор для удара на Ленинград. Мы возьмем Ленинград с ходу!..

Он обернулся к Данвицу.

— Вам понятен замысел, майор?

Но майор оставался безмолвным.

«Почему он молчит?» — спросил себя фон Лееб. Сейчас он был уже недоволен молчанием офицера. Подумал о том, что этот Данвиц, наверное, в большей степени напичкан национал-социалистскими доктринами, чем тактическими знаниями. Он просто не в силах мыслить категориями оперативного искусства. А ведь у него, Риттера фон Леeба, здесь тридцать две отборные дивизии, целый воздушный флот!

Он молчал, раздражаясь внутренне от сознания, что раскрывает свои замыслы какому-то майору. Но в этот момент заговорил Данвиц:

— Я знаю, господин фельдмаршал, что в районе Острова проходит «линия Сталина». Мы пробьем ее танковым тараном... — сказал он, продолжая как завороженный неотрывно глядеть на карту. — От Пскова до Ленинграда нас будут отделять уже только триста километров... Снова таранный удар, и Ленинград будет взят!

Неожиданно он резко повернул голову к фон Леебу и воскликнул:

— Это великолепно!

Какая-либо эмоциональная оценка, даже положительная, планов высшего командования в устах рядового офицера звучала бестактно, и это покоробило фон Леeба. Но в то же время неподдельное восхищение, прозвучавшее в словах Данвица, польстило самолюбию фельдмаршала. Отметил он и то, что, видимо, Данвиц внимательно изучал карту предстоящих действий, знает о «линии Сталина» и более или менее точно определил расстояние от Пскова до Ленинграда.

Однако фон Лееб ничем внешне не проявил своего удовлетворения и сказал нарочито сухо:

— Задача прорыва возложена на четвертую танковую группу генерал-полковника Хепнера.

Он снова умолк. Молчал и Данвиц. Несколько минут тому назад он был уверен, что сейчас узнает, зачем фельдмаршал вызвал его к себе. Но теперь?.. При чем же тут он? Не для того же, в самом деле, его вызвал фон Лееб, чтобы узнать мнение о своих планах. Даже если предположить, что фюрер сдержал свое обещание и дал понять фельдмаршалу, что майор Данвиц пользуется его доверием, даже при этом условии предполагать, что прославленный полководец снизойдет до обсуждения своих замыслов с каким-то майором, было бы дико.

Поэтому Данвиц молчал. Он уже мысленно ругал себя за то, что не удержался от пылкого восклицания, противоречащего военной субординации, но понимал, что это не может стать причиной того, что фельдмаршал изменил какие-то свои намерения касательно его.

— А вы не догадываетесь, майор, зачем я приказал вам явиться? — спросил, точно читая мысли Данвица, фон Лееб.

— Нет, господин генерал-фельдмаршал! — четко ответил Данвиц и добавил: — Во всех случаях это для меня незаслуженная честь.

— Вас ожидает еще большая честь, — пряча едва уловимую усмешку, сказал фон Лееб. — Я приказал генералу Хепнеру создать передовой отряд — группу захвата укрепленного района в глубине, у Острова. Он будет обладать всеми необходимыми подвижными средствами, танковыми подразделениями, подрывниками и огнеметчиками. Мне предстоит решить: кому поручить командование этим отрядом?..

Данвицу потребовалась вся его выдержка, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица и не дать первым пришедшим в голову словам сорваться с губ.

Все его существо было охвачено ликованием, восторгом. Ведь он уже понял, хорошо понял, о чем идет речь!

Все эти дни, будучи временно прикомандирован к штабу войск группы «Север», ожидая, пока ему дадут обещанный батальон, Данвиц молил — не бога, нет, религиозность не поощрялась в национал-социалистской партии, — но то высшее существо, воплотившее в себе дух древних тевтонов, те таинственные силы, которые руководят каждым шагом фюрера, чтобы ему, Данвицу, была предоставлена возможность совершить подвиг во имя великой Германии. И вот теперь...

— Вы молчите? — вскидывая монокль и глядя в упор на Данвица, спросил фон Лееб.

— Когда офицер немецкой армии стоит перед своим генерал-фельдмаршалом, он имеет право только отвечать на вопросы и повиноваться, — вытянувшись, до предела напрягая все свои мышцы и мускулы, ответил Данвиц.

— Хорошо, — сказал фон Лееб, делая едва заметное движение бровью. Выпавший из глазной впадины монокль повис на черном шелковом шнурке. Заложив руки за спину и слегка откинув голову, отчего его узкий, точно срезанный подбородок стал казаться еще острее, фон Лееб произнес медленно и раздельно:

— Майор Данвиц, готовы ли вы принять командование этим отрядом?

Данвиц быстрым движением языка облизал пересохшие губы и ответил:

— Я почту это за великую честь, господин генерал-фельдмаршал.

Фон Лееб слегка кивнул головой.

— Я ожидал такого ответа. Вам надлежит явиться к генералу Хепнеру и получить от него все дальнейшие приказания. Идите... Впрочем... подождите. Я хочу сказать в напутствие несколько слов. Пусть вам будет известно и то, что взятие Ленинграда наш фюрер поставил первой целью в той грандиозной битве, от начала которой нас теперь отделяют только часы. Вашему отряду предстоит сыграть огромную роль с самого начала военных операций против России. Подобно лезвию меча, мы рассечем главные силы противника, а в укрепленном районе вы откроете дальнейший путь силам прорыва. Вы сознаете ответственность, которая ложится на вас?

— Моя жизнь отдана фюреру и великой Германии, — ответил Данвиц, думая лишь о том, чтобы каким-нибудь неудачным словом или движением не дать повод фельдмаршалу изменить свое решение.

— Жизнь каждого из нас принадлежит фюреру и великой Германии, — чуть сдвигая свои густые брови, назидательно произнес фон Лееб.

Помолчал немного, чуть покачиваясь, слегка приподнимаясь на носки и опускаясь на пятки, сказал:

— Мне известно, что вы пользуетесь доверием фюрера. От вас зависит еще раз доказать, что вы достойны этого доверия. Успех операции откроет перед вами, молодым офицером... неограниченные перспективы.

Данвиц хотел было ответить, что само доверие фюрера является для него высшей наградой, но тут же понял, что фон Лееб может неправильно истолковать его слова. Поэтому он промолчал.

Фельдмаршал еще раз пристально оглядел Данвица с головы до ног и сказал:

— Выполняйте, майор, поручение. Желаю успеха.

...Когда Данвиц покинул кабинет, фон Лееб некоторое время глядел на дверь, за которой только что скрылся майор. Он был доволен собой. Живя в мире интриг, в атмосфере постоянной подозрительности и зная о неизменном стремлении генералов выслужиться и завоевать благосклонность Гитлера, фон Лееб понимал, что персональное оперативное задание майору

выходит за рамки обыкновенного, так сказать, формального распоряжения. Разумеется, он придавал большое значение замыслу захвата укреплений в глубине прорыва и, следовательно, тому, кто таким отрядом будет командовать. Пожалуй, он во всех случаях вызвал бы к себе кандидата на эту роль, чтобы составить о нем свое личное мнение.

Но в данном случае он учел и другие немаловажные обстоятельства. Иметь в своем штабе соглядатая фюрера фон Лееб не хотел. Назначив Данвица на пост командира ординарного батальона, он мог бы, пожалуй, восстановить против себя этого майора, который — фон Лееб был уверен в этом, — подобно остальным ярым нацистам, наверное, втайне мечтает об относительно безопасной должности, в то же время дающей ему право считаться боевым офицером. Он знал немало таких.

Сделав же Данвица командиром передового отряда в группе прорыва, фон Лееб дает ему и почетное назначение, и одновременно убирает подальше от своего штаба. Однако, будучи военным до мозга костей, он понимал, что успех и Хепнера, и его передовых частей во многом предопределит успех всего плана по захвату Ленинграда и, следовательно, успех фельдмаршала Риттера фон Леeба. Он никогда не назначил бы командиром подобного отряда офицера, в котором не был бы уверен.

Изучение личного дела Данвица и доклады адъютантов, которым он поручил наблюдать за молодым майором, привели фон Леeба к выводу, что он не ошибется, поручив командование отрядом этому, судя по всему, способному, холодному и, видимо, отважному человеку.

В случае успеха операции Данвица ожидают награды и новое назначение. Принимая их, он не может не вспомнить, кому прежде всего обязан этим. Несомненно, майор еще не раз окажется в ставке Гитлера. Иметь там человека, которому он открыл путь к карьере, фон Леебу казалось весьма важным.

Если же Данвицу не повезет и он будет убит?.. Что ж, на войне как на войне. Заменить командира отряда нетрудно. Просто одним Данвицем будет меньше в его штабе...

...И вот прошло десять дней. Десять дней с тех пор, как Данвиц побывал у фон Леeба. Десять дней с тех пор, как по приказу генерал-полковника Хепнера был сформирован передовой отряд моторизованной дивизии, усиленный двумя танковыми ротами, мотоциклистами-пулеметчиками, оснащенный дополнительно автомашинами с орудиями и минометами. В отряд вошли и огнеметные танки, и подрывники.

Десять суток с тех пор, как Хепнер поставил перед Данвицем задачу: после прорыва границы идти все время впереди, внезапным броском захватить плацдарм в укрепленном районе у города Острова.

И с тех пор — десять суток непрерывных, кровопролитных боев и главных сил Хепнера, и отряда Данвица.

То, что немцы высокопарно называли «линией Сталина», расписывая ее в газетах как нечто превосходящее по своей неприступности «линию Мажино» и «линию Маннергейма», вместе взятые, представляло собой на самом деле частично демонтированные оборонительные сооружения на старой государственной границе. После 1940 года советское командование придавало им уже второстепенное значение. Все усилия были сосредоточены на строительстве укрепленных районов на новой границе с Германией, на территории вошедших в состав Советского Союза трех Прибалтийских республик. Эти новые укрепленные районы, естественно, не могли быть завершены в столь короткий срок и к 22 июня 1941 года находились лишь в стадии строительства. Германское командование отлично знало это.

К вечеру 22 июня моторизованные корпуса 4-й танковой группы генерал-полковника Хепнера, сломив очаговое сопротивление приграничных войск, на которые двенадцать часов назад внезапно обрушился мощный артиллерийский налет и бомбовые удары немецкой авиации, прорвались уже северо-западнее Каунаса, а войска 3-й танковой группы генерала Зотта форсировали Неман, воспользовавшись тем, что, застигнутые вероломным нападением, советские части не успели взорвать мосты.

Передовой отряд майора Данвица вошел в прорыв сразу с юго-востока. Данвиц всеми силами рвался в район Острова, к своей цели, и достиг ее. В начале июля ему удалось захватить несколько бетонных дотов-бункеров в этом укрепленном районе. Бóльшая часть их была без вооружения и гарнизонов. Отступающие из Прибалтики советские войска или спешащие в этот район резервы не успели создать здесь линии обороны.

Данвиц мог сказать себе, что блестяще выполнил задание. Но, продвинувшись еще на несколько километров по направлению к Пскову, он был вынужден остановиться. Горючее в танках и автомашинах оказалось на исходе. Его радиограмма в штаб Хепнера ушла, и, пока не подойдут бензозаправщики, Данвиц получил передышку.

Но не только нехватка горючего приостановила путь передового отряда. Точнее, сама эта нехватка явилась следствием обстоятельства, не предвиденного и майором, и теми полковниками и генералами, которые двигались несколько медленнее с главными силами вслед за отрядом Данвица.

Прорвавшись к концу второй недели войны в район бетонных укреплений, когда-то по-

строенных русскими на границе с прибалтийскими государствами, Данвиц не сомневался, что захватит их с ходу. Полученные по радио данные воздушной разведки свидетельствовали, что здесь не заметно крупных передвижений советских войск. Во всяком случае, разведка позволяла сделать вывод, что если отступающие с боями из Прибалтики советские части и намеревались закрепиться в этих бетонных дотах, то стремительный рейд отряда Данвица уже опередил такие намерения. Отряд достиг укрепленного района ранее, чем отступающие от границы войска. Да и рассчитывали ли большевистские генералы использовать старые доты-бункеры? Может быть, теперь они ставят целью сконцентрировать все свои оставшиеся силы для обороны непосредственно Ленинграда?

Так или иначе, но когда на пути Данвица встретились первые небольшие оборонительные сооружения, в каждом из которых не могло быть более пяти-шести русских солдат, он не придал этому препятствию никакого значения, уверенный, что захватит их с ходу. Никакой «линии Сталина» он пока не увидел.

Уверенность Данвица еще более укрепилась после того, как, к своей большой радости, он убедился в том, что первые бункеры необитаемы. Железобетонные коробки с толщиной стен до двух метров зияли пустыми амбразурами!

Пересев из штабного автобуса в один из своих танков и уже отбросив все предосторожности, высунувшись наполовину из люка, чтобы лучше наблюдать за движением танков, бронемашин и мотоциклистов, Данвиц дал команду к дальнейшему стремительному броску. Его отряд свернулся в колонну.

И вот в этот-то момент один из отдаленных бункеров, казалось тоже пустой, вдруг открыл по забывшим всякую осторожность мотоциклистам яростный пулеметный огонь.

Данвиц успел увидеть, как падают с седел мотоциклисты, как неуправляемые машины слепо шарахаются в разные стороны, услышал дробный стук пуль по броне своего танка. Он поспешно захлопнул люк и дал по радио команду развернуться в боевой порядок.

Ругая себя за беспечность, стоившую жизни десятку его мотоциклистов, вне себя от ярости, Данвиц приказал дать по проклятому бункеру несколько выстрелов из танковых пушек.

Бункер умолк. Данвиц решил, что с ним покончено и горстка русских солдат если не убита, то, уж во всяком случае, лишена боеспособности. Он приказал двум бронемашинам подойти к доту вплотную.

Дот по-прежнему молчал. Однако, едва солдаты покинули бронемашины, чтобы осмотреть сооружение, они были буквально скошены новыми ожесточенными пулеметными очередями.

Данвиц наблюдал всю эту картину в бинокль. Он уже отвел свой танк в глубину боевого порядка отряда. Все, что произошло в какие-то считанные минуты, было для него ошеломляющим; он разразился проклятиями. Какой-то одинокий бункер стоит на дорожной развилке, и его невозможно обойти! Слева тянется непроходимый для мотоколонны лес, справа — бесконечные вязкие болота.

Нелепость, унизительность создавшегося положения выводили Данвица из себя. Судя по всему, люди, находившиеся в бункере, не могли рассчитывать ни на какую поддержку извне. Соседний лес молчал, и, следовательно, советских частей поблизости не было. Молчали и другие доты, которые, судя по данным разведки, имелись еще где-то к северо-западу от этой дорожной развилки. Может быть, они пусты, так же, как и те бункеры, которые остались уже в тылу отряда Данвица, а может быть, и выжидают, пока он подойдет ближе к ним? Так или иначе дальнейшее продвижение Данвица задерживал пока всего лишь один ничтожный бункер. Сознавать это было стыдно и унизительно.

В том, что пройдет еще некоторое время и он уничтожит русских, Данвиц не сомневался. Но думал он и о том, что о его бесславном «сражении» с полудесятком советских солдат станет известно в штабе генерала Хепнера. Именно мысль об этом приводила Данвица в ярость. Он вызвал командира танковой роты и приказал, чтобы тот выделил две вооруженные огнеметами машины и выжег в бункере все живое. Пусть самоубийцы сгорят!

В эту минуту Данвицу доложили, что связисты обнаружили телефонную линию, которая, возможно, связывает этот бункер с другими. Телефонисты уже подключились к ней и слышат какие-то переговоры русских.

Это сообщение заставило Данвица приостановить выполнение отданного приказа. Новая мысль захватила его: может быть, взять этих дикарей, этих фанатиков живьем? Увидеть их ползающими у своих ног на глазах немецких солдат? Это было бы, пожалуй, компенсацией за неожиданный просчет и потери. Данвиц приказал вызвать переводчика, пожилого капитана Зайдингера, вполне прилично знавшего русский язык: несколько лет назад тот около года проработал в военном атташате германского посольства в Москве.

Когда капитана доставили к Данвицу, они вместе пошли в лес, к связистам.

Немецкий ефрейтор, стоя на коленях, склонился над едва заметным в густой траве проводом, прижимая к уху телефонную трубку. Данвиц нетерпеливым движением выхватил ее из рук ефрейтора и прислушался. На фоне шумов, тресков и иных помех время от времени возникали голоса. Это были хриплые, надсадные голоса, видимо, возбужденные до предела. Несколько мгновений Данвиц напряженно вслушивался в незнакомые слова, точно пытаясь

проникнуть в тайну того, другого, враждебного ему мира, потом передал трубку Зайдингеру. Опустившись на корточки, переводчик приник к трубке...

— Они просят подкреплений, — сказал Зайдингер через минуту, опуская трубку и зажимая ее между коленями. — Говорят, что боеприпасы на исходе...

— Дальше, дальше! — нетерпеливо потребовал Данвиц.

Зайдингер снова приник к трубке.

— ...им приказывают покинуть бункер и отходить... — наконец сообщил он.

— Отлично! — воскликнул Данвиц и приказал установить тщательное наблюдение за бункером и любой ценой захватить живьем советских солдат, как только они попытаются уйти.

Но прошло еще полчаса, а дот молчал, и никто не выходил оттуда. Надвигалась ночь. Данвиц приказал включить фары у ближних к бункеру машин. Нельзя допустить, чтобы русские уползли. Но едва блеснул свет, как вновь брызнули пулеметные очереди из бункера и вдребезги разбили фары. Снова все погрузилось в полумрак.

Нетерпение и ярость Данвица достигли крайних пределов. Он снова приказал переводчику включиться в телефонную связь русских и передать им предложение сдаться.

Зайдингер прижал микрофон ко рту и начал говорить медленно, раздельно:

— Русские солдаты в бункерах. Вы окружены! Вы должны убить каждый свой командир и комиссар и потом выходить! Вы сдаетесь и живете. Иначе вы будете сожжен немецкий огнемет!

Зайдингер говорил по-русски, но никогда не учился грамматике. Ему было известно, что его русский язык страдает многими погрешностями, которые он инстинктивно пытался компенсировать твердостью и раздельностью речи. Он повторил одни и те же слова несколько раз, затем приник к трубке. Некоторое время на другой стороне провода царило молчание. Очевидно, русские были испуганы, ошеломлены внезапно раздавшимся чужим голосом.

А затем на Зайдингера обрушился поток слов. Он сосредоточенно вслушивался, пытаясь сквозь шумы и трески вникнуть в их содержание, и наконец понял. Это были просто ругательства! Поток самых грубых, самых оскорбительных для немца ругательств.

Он опустил трубку и доложил об ответе русских майору. Кровь бросилась Данвицу в лицо, и он приказал командиру танковой роты немедленно, сейчас же сжечь бункер. В ярости вернулся к своему танку.

Он встал на танковую броню и смотрел, как струи пламени метнулись на амбразуры бункера, услышал, как русские солдаты ответили пулеметным огнем. Один из огнеметных танков внезапно захлебнулся, видимо, пулеметная очередь угодила ему в смотровую щель. Второй танк подошел почти вплотную к бункеру, огненная струя вновь устремилась в амбразуру... И в этот момент раздался глухой, словно из-под земли взрыв. Огнеметный танк словно подпрыгнул и завертелся на одном месте: у него перебило или заклинило гусеницу.

На фоне темного неба и горящих факелами кольев проволочных заграждений Данвиц увидел, как взлетели в воздух глыбы бетона и земляные смерчи.

Что это? Кто взорвал бункер? Какому из танков Данвица удалось метким пушечным ударом пробить наконец амбразуру и уничтожить дот?

Но ни одна из машин Данвица, кроме огнеметных танков, не вела в этот момент огонь по бункеру.

Русские солдаты, лишенные возможности продолжать бой, взорвали себя сами.

...И вот Данвиц сидит в этой мертвой деревне Клепики. Ему пришлось все же отойти, потому что кончилось горючее. Возможно, его хватило бы еще на несколько километров, если бы он не затратил столько времени и сил на этот проклятый бункер.

Теперь он сидит в ожидании бензозаправщиков и снова и снова вспоминает о недавнем унизительном для него сражении.

Кто были они, эти фанатики? Сколько их было? Шесть, восемь, десять?.. Их трупы обезображены, разорваны на куски. Ни одной карты, ни одного документа не осталось в развалинах бункера, все сожжено, уничтожено огнем и взрывом.

Нет, не все. Нашли какой-то металлический ящик. Крышка приварилась к стенкам, и, для того чтобы открыть ящик, его пришлось прожечь автогеном.

Содержимое — несколько листков бумаги и две красные книжечки. Они покоробились, полуистлели. Зайдингер с трудом разобрал обрывки слов на листках. Это были фамилии солдат — защитников бункера. Листки, разделенные на графы: фамилии, год рождения, партийность, откуда прибыл. Стандартные русские фамилии: Иванов, Васильев, Коростылев... Против двух из семи фамилий стояли пометки: «Член ВКП(б)», «Канд. ВКП(б)». Против других — «Б/п».

А эти полуистлевшие кусочки картона и бумаги были когда-то партбилетами. Между ними — желтоватый листок, клочок, обрывок газеты. И на нем надпись: «Смерть немецким...»

Это было все, что осталось от бункера. От его людей. Что же заставило их предпочесть смерть хотя бы попытке сохранить себе жизнь? Страх перед комиссарами? Но, судя по документам, комиссаров или коммунистов там

было только двое. Остальные ведь могли убить их и этим спасти себя: они же слышали обращение Данвица.

Но все они предпочли смерть. Самоубийство. И их сопротивление обошлось Германии в два десятка солдат и один подбитый танк. Оно задержало продвижение отряда на несколько часов.

Во имя чего продолжали эти люди свое бессмысленное сопротивление? Разве поражение не было очевидно для них?..

Да, фюрер прав. Только смерть, только уничтожение должны стать уделом советских солдат. Не только комиссаров. Нет. Всех. Только мертвый русский хорош. Только мертвый...

Данвиц вспомнил и другие случаи. В боях они все сливались воедино, но теперь, в минуты раздумья над дневником, один за другим всплывали в памяти Данвица. Какой-то солдат, не успевший закончить минирование моста при стремительном приближении немецких танков... Он взорвал себя вместе с мостом. Даже клочья его разорванного взрывчаткой тела невозможно было потом обнаружить... Какой-то фанатик-крестьянин, судя по донесениям, отравивший воду, бросив в колодец химикаты в тот момент, когда изнывающие от жажды солдаты Данвица вошли в грязную маленькую деревушку... Данвиц приказал повесить этого мужика тут же, на колодезном журавле.

Да, если поразмыслить, подобных случаев было много. Плену русские предпочитали смерть. Впрочем, разве у него, Данвица, есть возможность возиться с пленными? Он должен идти вперед, только вперед!..

Когда Данвицу доложили, что, судя по словам одного из богатых в прошлом крестьян, бывшего «кулака» — по терминологии большевиков, — здесь, в Клепиках, скрывается чекист, то есть настоящий комиссар, и еще какой-то юнец родом из Ленинграда, Данвиц приказал отыскать и привести обоих.

Что ж, он неплохо использовал донос русского на русского... Труп комиссара только что вынесли из комнаты, пятна крови на полу еще не успели просохнуть.

А мальчишка этот — трус, судя по всему, не державший еще оружия в руках, но готовый ради спасения своей шкуры пристрелить комиссара. Он заслуживал снисхождения. Правда, он дрожал, промахнулся. Его пуля прошла на полметра выше головы комиссара, след ее и сейчас виден на стене...

Он, Данвиц, позволил себе помиловать мальчишку. Приказал вывести его к лесу, в котором, возможно, бродят одиночные русские солдаты.

Конечно, помиловал он этого юнца не из милосердия — такое нелепое слово не для истинного немца. Это тевтонская хитрость. Пусть сопляк доберется до Ленинграда. Пусть рассказывает всем встречным о силе и мощи германской армии. Ведь через какую-нибудь неделю она вступит в Ленинград. Он пригодится нам там, этот слюнтяй и ему подобные, когда мы займемся ленинградскими комиссарами...

Говорят, что вместе с ним была и какая-то девчонка. Но она куда-то исчезла. Конечно, далеко ей не уйти...

Что ж, сейчас у него есть не меньше трех-четырех свободных часов, пока подойдут бензозаправщики...

И вот он сидит в своем временном штабе, бывшей конторе колхозного правления, впервые за все эти дни получив возможность обдумать, осознать все, что произошло...

...Да, фюрер прав, прав, как всегда. Удар, который они нанесли русским, был внезапным и ошеломляющим. Это достойный вождя гениальный замысел — нанести удар по России именно сейчас, пока она еще не успела укрепить свою новую западную границу, перевооружить свою армию.

И старик фон Лееб тоже оказался на высоте. Его план одновременного удара по войскам, сосредоточенным в Прибалтике, и обхода этих войск с юго-востока достоин немецкого полководца. В результате удалось сразу получить оперативный простор и оказаться на короткой прямой к главной цели — Ленинграду. Да, все идет хорошо...

И все же было нечто такое, что вызывало у Данвица смутное, безотчетное беспокойство. Но надо ли даже в дневнике писать об этом?..

Казалось бы, у него нет причин для тревоги. Он выполнил поставленную перед ним фон Леебом и Хепнером задачу. Его отряд рвался вперед, как вихрь, как смерч... Это были лучшие дни в жизни Данвица. Следуя в середине наступающего отряда в штабной машине, время от времени пересаживаясь в свой командирский танк, когда отряд вступал в соприкосновение с противником, Данвиц мог убедиться в боевых качествах офицеров и солдат фюрера. Ему хотелось, чтобы в эти минуты его мог видеть сам фюрер! Видеть в тот момент, когда он, Данвиц, наполовину высунувшись из танкового люка, небритый, с слипшимися, покрытыми дорожной пылью волосами, пропахший бензином и пороховой гарью, мчался по вражеской земле.

Они давили и жгли, расстреливали на своем пути все: деревни, одиноко стоящие лесные сторожки, людей, бегущих при их приближении... Они стреляли в упор из орудий и пулеметов, обрушивались огнем из минометов прямо с машин, давили гусеницами танков беженцев, мешавших быстрому продвижению. Слова фюрера о том, что Россия — это государство, не нужное миру, — должна быть не просто покорена, но уничтожена, стерта с географической карты, приобрели для Данвица не отвле-

ченный, а конкретный, видимый и осязаемый смысл. Он познал высшее наслаждение могущества, всевластья.

Его мечты сбылись. На его долю выпало счастье — быть одним из первых солдат фюрера, его герольдом, возвещающим людям волю вождя великой Германии. Эта жизнь была ему по вкусу. Он чувствовал себя как дома в среде своих солдат, грязных, небритых, все эти дни не имевших ни минуты отдыха, смелых, грубых, обветренных, запыленных, с засученными рукавами, с автоматами, раскаленными от стрельбы. Его горячил запах бензина и перегретого масла, рокот моторов. Ему доставляло наслаждение сознавать себя властелином на чужой земле, над ее обитателями, жизнь и смерть которых зависят только от него...

И все же...

И все же чувство смутной, необъяснимой не тревоги, нет, а скорее недоумения, непонимания, почему так отчаянно сражались его противники, эти, казалось бы, уже обреченные люди, осложняло ясный, последовательный ход мыслей Данвица.

Он писал, но временами откладывал ручку в сторону.

Надо ли упоминать и об этом? Что будет, если его дневник попадет в чьи-либо руки?

Вправе ли он заносить на бумагу ничего не определяющие в великой войне Германии эпизоды фанатического сопротивления русских, если армия в целом так победно идет вперед? Все сообщения немецкого радио лишь подтверждают расчеты фюрера...

Еще несколько дней назад радио транслировало пресс-конференцию Отто Дитриха — начальника отдела печати германского правительства. От имени фюрера он известил весь мир, что русская армия уничтожена. «С точки зрения военной, — сказал Дитрих, — с Советским Союзом покончено».

...Майор Арним Данвиц знал, что еще в походах на Польшу, на Францию и Бельгию многие офицеры и генералы вермахта, обуреваемые желанием оставить для истории свидетельство очевидца исторических побед великой Германии, начали вести дневники. Что ж, и ему есть что написать...

В то время Данвиц не знал, что изо дня в день ведет дневник и начальник штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Гальдер.

В первые дни июля он записал: «Не будет преувеличением сказать, что кампания против России была выиграна в течение четырнадцати дней...» Но чуть позднее в дневнике появились строки: «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека... На фронте группы армий «Север» танки генерала Хепнера лишь медленно продвигаются вперед...»

Это была лаконичная, протокольная запись. Но за ней стояло многое...

Прежде всего то, что, несмотря на продолжающееся продвижение фашистских войск по всему фронту, темпы продвижения ощутимо замедлились.

И случилось так не потому, что у немецких солдат не хватило танков, автомашин и самолетов. Не потому, что раскисшие от дождей дороги оказались хуже, чем предполагало командование. Не потому, что вовремя не подвозили горючее. И не потому, что в тактические расчеты вкрались погрешности.

Эти темпы замедлились оттого, что советские войска, несмотря на, казалось бы, сокрушающий удар, полученный ими в первые часы войны, с каждым днем, казалось, обретали все новую и новую силу.

Все, чем немцы рассчитывали подавить регулярную армию и стоящий за ней народ — снарядами, фугасными бомбами, превосходством в танках, самолетах и автоматах, виселицами, — словно не только не подавляло советских людей, но разжигало волю к сопротивлению, ненависть к врагу. И казалось, что каждый советский боец, умирая, передавал эту волю, эту ненависть другому бойцу и тот, живой, становился в два раза сильнее.

Отдавал ли себе Гальдер уже в те июльские дни отчет во всем этом?.. Понимал ли, что в наскоро записанных им словах: «...русские всюду сражаются до последнего человека...» — кроется грозный для немецкой армии смысл, целиком осознать который ей придется в недалеком будущем? Вряд ли. Для этого еще не настало время. Пока что начальник штаба сухопутных войск Германии с немецкой методичностью, с бухгалтерской точностью лишь констатировал факт, вытекающий из донесений, поступающих с Восточного фронта вообще и в частности из штаба командующего группой армий «Север». Очевидно, в те дни Гальдер не придавал этим сообщениям сколько-нибудь серьезного, решающего значения.

Ему будет суждено перечитать свою запись несколько позже. Перечитать и понять до конца ее грозный смысл.

XVII

Они стояли друг перед другом — Валицкий и Королев. Королев какое-то время не двигался с места, потом медленно пошел по темно-желтому, тускло поблескивающему паркету и остановился у глубокого кожаного кресла.

— Садитесь же! — повелительно сказал Валицкий, но сам остался стоять даже после того, как Королев сел. — Так вот, — продолжал он, глядя поверх сидящего Королева. —

мне бы не хотелось выслушивать... гм... подробности. Судя по вашим словам, мой сын и ваша дочь... Одну минуту! — Он предостерегающе поднял руку, думая, что Королев хочет его прервать. — Я еще не все сказал! Полагаю своим долгом сообщить вам, что мой сын сейчас находится вне пределов Ленинграда, иначе я предпочел бы, чтобы он объяснялся с вами лично. Еще раз говорю: мне не хотелось бы вникать в подробности. Можете не сомневаться, что по возвращении сына я поставлю его в известность о вашем... визите.

Федор Васильевич ожидал, что этот бесцветный старик потупит взор, подавленный уничижительной холодностью произнесенных им слов. Но, к удивлению своему, заметил, что Королев, чуть прищурив свои и без того окруженные сетью морщин глаза, с каким-то любознательным, но в то же время пренебрежительным недоумением рассматривает его, точно редкую диковину.

Валицкий не помнил, чтобы его так разглядывали. Взгляды неприязненные, почтительные или завистливые были для него не новы. Но этот человек смотрел на него так, как посетитель зверинца, стоя у решетки клетки, разглядывал бы какой-нибудь экзотический экземпляр животного мира. Он не выдержал пристального, презрительного взгляда Королева, отвернулся, сухо сказал:

— Я полагаю, что на этом наш разговор можно считать оконченным.

— Я сейчас уйду, — ровным голосом произнес Королев. — Мне ведь тоже разговоры вести некогда. Я только спросить пришел... вы от сына своего никаких известий не имели?

— Мой сын уехал на каникулы, — не глядя на Королева, ответил Валицкий, — однако не сомневаюсь, что он вернется в самое ближайшее время, принимая во внимание... экстраординарность событий.

— Значит, вы не знаете, где он?

— Я вам сказал, что он вернется сегодня или завтра! — повышая голос, произнес Валицкий. — Уж не подозреваете ли вы... — Он хотел было сказать «милостивый государь», но вовремя понял, что это прозвучало бы не только нелепо, но даже комично, — уж не подозреваете ли вы, — повторил он, — что я скрываю местонахождение своего сына?

Королев неожиданно встал и подошел к Валицкому.

— Послушайте, — сказал он укоризненным тоном взрослого человека, усовещивающего не в меру расшалившегося подростка, — ваш Анатолий с моей Верой уехал. В Белокаменск. Я об этом не знал, да и вы, вижу, тоже. Она к своей тетке поехала. Вчера я тетку к телефону вызывал. Говорит, не ночевала Вера. Анатолия вашего тетка раньше видела. А теперь и тот не появляется. Ну вот... Я и зашел узнать, не известно ли вам чего. Время-то вон какое... А вы спектакли передо мной играете. Как в театре.

Он махнул рукой, повернулся и направился к двери.

— Подождите! — крикнул Валицкий, и голос его прозвучал неожиданно для него самого визгливо. — Подождите, — повторил он уже тише.

Королев остановился и посмотрел на Валицкого через плечо и сверху вниз, точно на собачонку, цепляющуюся за брюки.

— Разрешите задать вам несколько вопросов, — несвойственным ему просительным тоном произнес Валицкий, боясь, что этот человек сейчас уйдет и он так и не узнает, что же случилось с Анатолием.

Но как только Королев вернулся обратно на середину кабинета, Валицкий вновь обрел свою привычно-высокомерную манеру разговаривать.

— Мне все-таки хотелось бы знать, — сказал он, закладывая большой палец правой руки в карман жилета, — с кем, собственно, я имею честь...

И он вопросительно-вызывающе посмотрел на Королева.

— Вы про что? Про место работы, что ли? — переспросил тот, пожимая своими острыми плечами. — Что ж, извольте. — Королев произнес это слово «извольте» с едва скрываемой насмешливой интонацией. — Мастером работаю на Кировском, если слышали про такой завод. На бывшем Путиловском, чтобы вам было более понятно, — добавил он уже с явной насмешкой.

Он снова оглядел Валицкого с головы до ног, потом пожал плечами и сказал:

— Ну, извините. Мне надо на завод возвращаться. Мы с сегодняшнего дня на казарменное перешли.

— Казарменное? Как это понимать в применении к заводу? — неожиданно для самого себя спросил Валицкий, в котором все время жило подсознательное желание узнать хоть какие-нибудь подробности о том, что происходит в мире, от которого он, по существу, был оторван.

Королев пожал плечами:

— А чего ж тут понимать? И живем и работаем на заводе.

— Но... с какой целью? — вырвалось у Валицкого. В следующее мгновение он понял, что вопрос его прозвучал глупо, но поправиться уже не мог, потому что Королев тут же холодно ответил:

— С целью немцев разбить.

Он пошел к двери.

— Подождите! — снова и на этот раз уже явно растерянно воскликнул Валицкий. — Вы... вы ведь так мне ничего и не рассказали... об Анатолии!

— То, что знал, сказал, — сухо ответил Королев. — Думал, вы больше моего знаете.

— Нет, нет, так нельзя, — торопливо говорил Валицкий, то шагая рядом с Королевым, то забегая вперед и заглядывая ему в лицо. — Я прошу вас присесть... мне необходимо выяснить... я сейчас скажу, чтобы вам принесли кофе или чаю, если предпочитаете... Маша! Настя! — позвал он, и голос его снова прозвучал визгливым фальцетом.

— Нет, извините, некогда, — все так же сухо сказал Королев, — вы уж сами свой кофий попивайте. А мне работать надо...

И он вышел из кабинета. Через минуту стукнула парадная дверь.

Валицкий остался один. Ему было стыдно. На мгновение он представил себе, как только что униженно упрашивал этого Королева остаться.

«Стыдно, стыдно! — говорил себе Федор Васильевич. — Все как в плохом водевиле... Не дослушал до конца, сразу вообразил невесть что... Разумеется, Анатолий замешан в какую-то интрижку, но этот Королев, по-видимому, здесь ни при чем. И пришел он не для того, чтобы... Ах, стыдно, очень стыдно!»

Но если бы Федор Васильевич Валицкий был способен оценивать свое состояние и поступки более объективно, то понял бы, что мучающее его чувство стыда возникло не только оттого, что вел он себя неуклюже, бестактно. Дело было в другом. Федора Васильевича унижало то, что в такое время, когда каждый человек занят чем-то важным, он, Валицкий, никому не нужен, все забыли о нем и единственным поводом, по которому к нему кто-то обратился, оказалась любовная интрижка его сына.

Чувство стыда и униженности усиливалось от сознания, что этот рабочий, мастер с Путиловского, вел себя более сдержанно и достойно, чем он сам. Судя по всему, Королева интересовало только одно: где находится его дочь? А он, Валицкий...

«Стыдно!» — произнес вслух Федор Васильевич и в этот момент услышал голос жены:

— Федя, кто этот человек?

Мария Антоновна стояла на пороге кабинета. Несмотря на духоту, она куталась в большой оренбургский платок и казалась в нем еще более маленькой, чем обычно.

— Не твое дело! — ответил Валицкий.

— Нет, мое! — с несвойственной ей настойчивостью возразила Мария Антоновна. — Он про Толю что-то сказал, я слышала!

— Подслушивала?! — с яростью воскликнул Валицкий. — Да, сказал! Пришел сообщить, что твой сын впутался в какую-то... романическую историю. Сошелся бог знает с кем! Что он...

— Не смей так говорить, не смей! — неожиданно громко прервала его Мария Антоновна. — Ему ведь на смерть предстоит идти, а ты...

Глаза ее наполнились слезами. Она плакала беззвучно: ведь муж ее ненавидел бурные выражения горя или радости. Она ожидала нового взрыва, но, к ее удивлению, Федор Васильевич не промолвил ни слова.

Он стоял посреди кабинета под низко свешивающейся бронзовой люстрой, почти касаясь ее своей седой головой, стоял неподвижно, точно в оцепенении.

Неожиданно — казалось, сам не сознавая, что делает, — Федор Васильевич подошел к жене и положил руки на ее узкие плечи.

Он почувствовал, как она вздрогнула от этого непривычного прикосновения, и впервые за долгие годы ему стало жалко жену.

— Толе ничего не грозит, Маша, — глухо сказал он, — у него отсрочка до окончания института.

— Нет, Федя, нет, — безнадежно сказала она. — Ведь это война!

— Не говори глупостей! — снова переходя на привычный, непререкаемый тон, прервал ее Федор Васильевич. — Эта война закончится через несколько дней. Им не понадобится двадцатитрехлетний необученный мальчишка, который никогда не держал в руках винтовки.

— Нет, Федя, нет, — все с той же безнадежной настойчивостью повторила Мария Антоновна. — Ты сам не веришь в то, что говоришь.

— Прекрати! — крикнул Валицкий и тут же отвернулся, потому что ему стало стыдно за свою резкость.

— Хорошо, я буду молчать, — покорно сказала Мария Антоновна. — Скажи мне только одно: этот человек знает, где Толенька?

— Он ничего не знает. Ему кажется, что Анатолий уехал вместе с его дочерью. Зашел узнать, не вернулся ли.

— Но как же...

— Не знаю! — с явно прозвучавшей ноткой отчаяния воскликнул Федор Васильевич. — Ты можешь это понять: я ничего не знаю! А теперь оставь меня, пожалуйста, в покое.

И он, не оборачиваясь, медленно пошел к своему письменному столу. Когда он сел в кресло, дверь кабинета уже затворилась.

Прошло еще два дня. Никто не заходил к Валицкому, никто не звонил ему по телефону.

...В тот вечер Федор Васильевич сидел неподвижно в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла. Его руки, ноги, голова внезапно обрели непривычную тяжесть. «Что же я должен делать?» — задал он себе вопрос. Но ответа не находил. Медленным взглядом обвел он стены своего кабинета, тяжелые темно-зеленые гардины, застекленные книжные шкафы, кар-

тины в золоченых старомодных рамах — все то, что всегда вызывало в нем ощущение покоя, уверенности, сознание собственной значительности, что отделяло его от суетного, крикливого, невежественного, несправедливого мира людей, которых он не уважал.

Но на этот раз приятное чувство не приходило. Федор Васильевич вдруг впервые заметил, что на гардинах скопилась пыль, что на рамах картин во многих местах отошла позолота, в матовых плафонах бронзовой люстры недоставало стекол.

Он опустил голову, ему не хотелось видеть всего этого, и снова задал себе вопрос: «Что же мне надо делать?» Внезапно в сознании его прозвучал ответ: «Ничего». «Конечно, ничего! Кому ты нужен? Кто в тебе нуждается?»

Валицкий облокотился на стол локтями, плотно прижав ладони к ушам, стараясь заглушить голос, казалось доносящийся откуда-то со стороны. Если бы кто-нибудь мог видеть его в этот момент! Не просто видеть, нет, но проникнуть в мысли, в чувства этого, казалось бы, холодного, эгоистичного человека, который сейчас сидел за своим широким, старомодным, с резными инкрустациями, черного дерева столом, обхватив голову руками.

Он переживал минуты отчаяния и унижения. Еще совсем недавно он был уверен, что нет и не может быть на свете ничего, что могло бы вывести его из равновесия, нарушить привычный ход мыслей, систему оценок, с которыми он подходил к людям, событиям и вещам. А сейчас он чувствовал себя подавленным, разбитым. Его мучило сознание своей ненужности.

Он вдруг понял, что не сегодня и не вчера сам, по собственной воле отделил себя от окружающего его мира, от людей, от всего того, чем они жили.

В эти минуты он ненавидел себя. Долгие годы уверенный, что является для всех, кто его окружает, объектом зависти и хотя и скрытого, но уважения, он вдруг осознал, что существовал таким только в своем воображении. И ему захотелось найти выход, придумать, сделать нечто такое, что разом сломало бы стену, которую он с такой тщательностью, с таким маниакальным упорством воздвигал между собой и людьми вот уже много лет. Может быть, он нашел бы этот выход, если бы рядом был его сын, Анатолий. Может быть, через него он смог бы приобщиться к тем грозным событиям, которые ворвались в жизнь людей. Ведь Анатолий жил той самой жизнью, теми интересами, теми заботами, к которым он всегда относился с иронией, как к «суете сует», несовместимой с той, подлинной жизнью, которую себе придумал. Если бы Анатолий был рядом!.. Теперь он сумел бы поговорить с ним, найти общий язык. Но Анатолия не было. Где же он? Почему не присылает телеграмму, почему не возвращается?! С кем же поговорить? С Осьмининым? Но он далеко от него, несмотря на то что физически он тут, в городе, где-то рядом. Да, да, он уже там, в бою, несмотря на то что является почти ровесником ему, Валицкому. «Так что же мне делать?!» — снова и снова горестно спрашивал себя Федор Васильевич. И все тот же холодный, равнодушный голос отвечал ему: «Теперь уже поздно».

Так он сидел некоторое время. Голос умолк, и вместо него теперь доносился какой-то прерывистый звон.

Федор Васильевич еще плотнее зажал уши, чтобы избавиться от этих звуков, и не сразу догадался, что звонит телефон.

Он поспешно схватил трубку, громко крикнул: «Слушаю!» — опасаясь, что тот, кто ему звонил, мог уже повесить трубку, долго не получая ответа.

— Товарищ Валицкий? — раздался чей-то мужской незнакомый голос.

— Я у телефона, — ответил Валицкий, плотнее прижимая трубку к уху.

— Говорит дежурный по архитектурному управлению. Товарищ Росляков просит вас явиться к нему завтра к девяти утра. Вы меня слышите?

В другое время одного только слова «явиться» было бы достаточно, чтобы привести Валицкого в бешенство. Обычно его «приглашали», просили «заглянуть», самого назначить удобное время...

Но теперь Федор Васильевич пропустил это слово мимо ушей.

— Да, да, я вас слышу, — поспешно сказал он и повторил: — Завтра в девять. — Потом нерешительно спросил: — Вы не знаете, по какому поводу?

— Сообщат на месте, — ответил голос.

Раздался щелчок. Трубка была повешена.

Валицкий тоже повесил трубку, потом вынул из кармана платок и вытер выступившие на лбу капли пота.

«Что понадобилось от меня Рослякову?» — подумал Валицкий, на этот раз без всякого раздражения, без неприязни, даже с какой-то теплотой.

Но тут он вспомнил, как пренебрежительно встретил его сегодня утром Росляков.

Это воспоминание тотчас же вернуло ход его мыслей в привычное русло. Но тот факт, что о нем, сугубо гражданском человеке, не имеющем никаких военных знаний, не забыли в такие дни, означал, что он незаменим, что от него невозможно отмахнуться не только в мирное, но и в военное время!

Значит, все его горькие мысли не имели под собой никаких оснований? Значит, он просто поддался минутной слабости, недооценил себя?

Сознание, что он победил и на этот раз, вызвало у Федора Васильевича ощущение гордости. Он встал, выпрямился, несколько раз прошелся по комнате, крикнул в открытую дверь кабинета, чтобы приготовили кофе, и в тот же момент услышал звонок у парадной двери. Минутой позже в кабинет вбежала, задыхаясь от волнения и протягивая какую-то бумагу, Мария Антоновна. Валицкий выхватил из ее рук серый листок — это была телеграмма.

«Не волнуйтесь немного простудился приеду через несколько дней Анатолий».

Валицкий с облегчением вздохнул — еще одна тяжесть упала с его плеч.

...На другой день он встал, как обычно, в половине восьмого утра, не спеша оделся с обычной тщательностью.

Если вчера, когда Федор Васильевич шел в управление, у него мелькнула мысль, что, пожалуй, стоило сменить «бабочку» на галстук, а карманные золотые часы — на обычные ручные, то сегодня он с особым удовлетворением оделся именно так, как одевался всегда.

Мысль о том, что люди должны, вынуждены принимать его таким, каков он есть, — хотя он никогда и ни в чем не сделал им ни малейшей уступки, — сегодня была особенно приятна Валицкому.

Точно рассчитав время, он вышел из дому без двадцати девять и ровно в девять без стука вошел в кабинет заместителя начальника архитектурного управления.

Поздоровавшись с Росляковым едва заметным кивком головы — он не мог простить ему вчерашнего приема, — Валицкий сел, не дожидаясь приглашения, на один из двух стоявших у письменного стола стульев. С чувством внутреннего удовлетворения отметил, что Росляков, этот обычно самоуверенный и начальственно держащийся тучный, пожилой человек, был сегодня небрит и под глазами его набухли серые мешки. Он казался утомленным и растерянным.

— Чем могу служить? — холодно спросил Валицкий, слегка облокачиваясь на трость, которую держал обеими руками, и предвкушая удовольствие выслушать просьбу.

Росляков молча взял со стола какую-то папку, раскрыл ее, вытянул из пластмассового стаканчика один из остро отточенных карандашей и спросил равнодушным, бесцветным голосом, точно врач очередного из многочисленных пациентов:

— Ваша семья, Федор Васильевич, состоит из трех человек, так?

— Простите? — недоуменно переспросил Валицкий. Ему показалось, что он не понял вопроса.

— Я спрашиваю о составе семьи, — несколько громче и на этот раз подчеркнуто внятно повторил Росляков. — В списке значатся: вы, ваша супруга Мария Антоновна шестидесяти лет и сын Анатолий, двадцати трех лет, военнообязанный, так?

— Вы абсолютно правы, — с холодным недоумением ответил Валицкий, — однако я не понимаю, о чем идет речь.

Росляков поднял голову, посмотрел на закрытую дверь, снова перевел взгляд на Валицкого и сказал вполголоса:

— Об эвакуации.

— О чем? — переспросил Валицкий, откидываясь на спинку стула.

— Ну я же сказал, об эвакуации, — устало повторил Росляков. — Есть решение областного комитета партии... Разумеется, к вашему сыну это не относится. В ближайшие дни вас известят о месте вашего нового жительства, а также о дате и часе отъезда.

— Но... но я никуда не собираюсь ехать! — возмущенно воскликнул Валицкий, все еще не до конца отдавая себе отчет в конкретности только что сказанных Росляковым слов, но уже сознавая их смысл.

Росляков укоризненно покачал головой и устало сказал:

— Эх, Федор Васильевич, когда же вы наконец поймете, что ваше желание или нежелание не всегда является решающим! Я же сказал: есть решение бюро обкома. Вы про такое учреждение, надеюсь, слышали?

Валицкий вскочил со своего стула.

— Если вы, — громко сказал он тонким, как всегда в минуты большого волнения, голосом, — являетесь только передаточной инстанцией, то потрудитесь сообщить мне адрес... властей! Вам же, уважаемый... товарищ, хочу сообщить, что я родился и вырос в этом городе. В нем мои дома стоят! И не в ваших силах...

Он задохнулся от ярости, от обиды, судорожно проглотил слюну, хотел сказать что-то еще, но не смог произнести ни слова, громко стукнул палкой по полу, повернулся и вышел, почти выбежал из кабинета.

...Он шел по скверу к Невскому, тяжело размахивая своей палкой.

Сияло солнце. Какие-то люди рыли канаву. «Поразительная страсть все копать и перекапывать! — подумал Федор Васильевич. — Сегодня заливают асфальтом, завтра ломают и перекапывают».

Он мельком недоуменно отметил, что канаву копали люди, не похожие на обычных рабочих-строителей: молодые и пожилые, они были в пиджаках, многие в шляпах и кепках.

Но Валицкий не придал значения этим непривычным деталям, он лишь автоматически зафиксировал их и пошел дальше, по-прежнему кипя от возмущения.

Он был в таком состоянии, что даже и не пытался до конца осмыслить сказанное Росля-

ковым. Федор Васильевич понял только одно: ему и его жене предлагают убраться из Ленинграда, где они никому не нужны.

Он шел по скверу, сердито пристукивая палкой, ослепленный чувством горькой обиды, ни на что не глядя и никого не замечая, пока дорогу ему не пресекла широкая, свежевырытая канава.

Федор Васильевич чуть не свалился в нее, потому что шел с высоко поднятой головой.

— Черт знает что! Роют дурацкие канавы в центре города! — неожиданно для самого себя громко воскликнул он, едва сохраняя равновесие, отступил и увидел, что в стороне через канаву перекинут деревянный мостик и именно по нему и идут люди.

— А это, дяденька, не канава, а траншея! — раздался где-то за спиной Федора Васильевича мальчишеский голос. — От самолетов в нее пикировать!

Валицкий обернулся и увидел мальчишку лет двенадцати, смотревшего на него с презрительным снисхождением.

— Черт знает что! — буркнул Валицкий, но уже без прежней убежденности.

Он влился в поток людей, перешел через мостик и вышел на Невский. На углу Литейного он остановился, стараясь отдать себе отчет в том, куда же, собственно, он идет.

А идти-то ему было некуда. Он постоял на углу, раздумывая, не следует ли вернуться обратно в управление и сказать этому Росляко-ву — но уже спокойно и обдуманно, — что он никуда не поедет и пришел узнать, намерены ли его выдворять из города силой.

Федор Васильевич сделал было шаг в обратном направлении, но тут же сказал себе: «Бесполезно. Росляков не более чем исполнитель. Он всегда был только исполнителем. Он пешка. Но я, я не пешка, которую можно передвинуть или вообще сбросить с доски одним движением руки!..»

Решение было принято внезапно. Ну, конечно же, надо идти к высшему начальству! К тем, на чье решение ссылался Росляков!.. Однако допустят ли его, будут ли с ним разговаривать?

Но одно лишь предположение, что кто-то может отказаться разговаривать с ним, Валицким, снова привело Федора Васильевича в состояние крайнего негодования. Он взмахнул своей палкой, точно грозя кому-то, решительно пошел к остановке, дождался автобуса, втиснулся в него... И только голос кондуктора: «Смольный!» — оторвал Валицкого от его мыслей.

Он вышел из автобуса, сделал несколько шагов, завернул за угол и остановился в полном недоумении. Огромное, широко раскинувшееся, образующее два крыла белокаменное здание Смольного было прикрыто гигантской зеленой сетью. Такие сети с наклеенной на них бутафорской листвой и силуэтами деревьев Валицкому приходилось видеть лишь в театре.

Однако здесь все поражало своими масштабами. Сеть прикрывала площадь во многие сотни квадратных метров. Для столь опытного архитектора и знатока живописи, каким был Валицкий, не стоило большого труда представить себе, что сверху район Смольного должен теперь казаться огромным лесным или парковым массивом.

Некоторое время он стоял неподвижно, ошеломленный масштабом и хитроумностью замысла этой маскировки, однако очень скоро вспомнил о цели своего приезда сюда и зашагал к воротам.

Федор Васильевич не был в этом здании уже много лет. В его представлении Смольный являлся символом, средоточием тех неприязненно относящихся к нему, Валицкому, сил, по воле которых он вот уже долгие годы считался «опальным» и не допускался к сколько-нибудь ответственным работам. Эти силы, по терминологии Федора Васильевича, обозначались местоимением «они». Иногда он добавлял к нему слово «там». «Это уж пусть решают «они», «Разве они «там» позволят!..» — не раз произносил с сарказмом Валицкий, делая при этом неопределенный взмах рукой.

Войдя в большой, неярко освещенный вестибюль, он растерянно осмотрелся. В десятке метров от него невысокая, широкая каменная лестница была перегорожена деревянным, оставляющим лишь узкий проход барьером. Возле прохода стоял военный в фуражке с синим верхом.

«К кому, собственно, я должен обратиться?» — в первый раз подумал Валицкий. Единственное имя, которое было ему известно из тех, что ассоциировались с понятием «Смольный», было имя Жданова. Он не был знаком с этим человеком, хотя не допускал мысли, что Жданову фамилия Валицкий ничего не говорит. Поэтому он решил, что направится непосредственно к Жданову.

И Федор Васильевич, чуть откинув голову и всем своим видом показывая, что он личность значительная и независимая, решительно стал подниматься по лестнице.

Когда он приблизился к барьеру, военный сделал шаг вперед, загораживая проход, и вопросительно посмотрел на странного, столь непривычно для его глаз одетого человека с тростью в руке.

— Ваш пропуск, — сказал военный.

— Я к Жданову, — бросил, не поворачивая головы, Валицкий.

— Пропуск, пожалуйста, — вежливо повторил военный, однако при этом окончательно загораживая проход.

— Я академик архитектуры Валицкий! — многозначительно произнес Федор Васильевич,

глядя сверху вниз на едва доходящего ему до плеча военного.

— Вас ждут? — с некоторым колебанием в голосе спросил тот, не отступая, однако, ни на шаг.

Валицкий помедлил с ответом, обдумывая, позволительно ли ему унизиться до мелкой лжи.

— Нет, — высокомерно бросил он, — но я по важному, неотложному делу.

— Обратитесь в бюро пропусков, — сказал военный, делая движение рукой куда-то вниз, и добавил: — Прошу посторониться.

Валицкий автоматически сделал шаг в сторону, пропуская двух стоящих за ним командиров с планшетами в руках, и медленно спустился вниз.

В окошке бюро пропусков ему сказали, что в секретариат товарища Жданова надо звонить по телефону, и дали номер. Телефоны висели тут же на стене, но возле них толпились люди. Валицкий дождался своей очереди, назвал номер и, перечислив все свои звания, сказал, что хотел бы переговорить со Ждановым.

Мужской голос вежливо и спокойно ответил ему, что товарища Жданова сейчас на месте нет и что сегодня он вряд ли будет в Смольном.

— Как же быть? — растерянно произнес Валицкий. — У меня дело крайней необходимости...

Наступила короткая пауза, видимо, человек на другом конце провода обдумывал ответ. Наконец Валицкий услышал:

— Подождите минуту у телефона.

Затем в трубке раздался далекий, приглушенный голос, однако Валицкий, как ни прижимал трубку к уху, не мог ничего разобрать из тех явно не ему адресованных слов.

— Вы слушаете? — снова громко и внятно прозвучало в трубке.

— Да, да! — поспешно подтвердил Валицкий.

— Я договорился с товарищем Васнецовым. Он сможет вас принять. Подойдите, пожалуйста, к окошку бюро пропусков. Без очереди.

«А кто такой товарищ Васнецов?» — хотел было произнести Валицкий, но тут же вспомнил, что не раз встречал эту фамилию в «Ленинградской правде» при перечислении имен руководителей города.

— Большое спасибо! — воскликнул Валицкий гораздо сердечнее, чем ему хотелось.

Он повесил трубку и направился к окошку, однако очередь была и здесь. Вдруг он услышал голос: «Товарищ Валицкий!» И одновременно те люди, что стояли у окна, расступились, и Федор Васильевич увидел голову человека в военной фуражке, наполовину высунувшуюся из окна. Валицкий подошел.

— Ваш партбилет, — сказал, опускаясь на стул, с которого поднялся, когда высматривал Валицкого, военный с тремя кубиками на петлицах. Одновременно он склонился над столом и протянул руку к окошку, за которым стоял Валицкий.

— Простите... но я не состою... — начал было тот, но военный прервал его:

— Тогда паспорт.

— Но... но у меня нет с собой паспорта, — в еще большей растерянности произнес Валицкий. — Я академик архитектуры! Меня весь город знает!..

Военный поднял голову, недоуменно посмотрел на лицо седовласого человека с галстуком-«бабочкой», встал, подошел к другому столу, снял трубку одного из телефонов и, прикрыв микрофон рукой, стал что-то говорить.

Потом он вернулся к окну и, не глядя на Валицкого, сказал:

— Вас проводят к товарищу Васнецову. Подождите у входа.

Через несколько минут к стоящему у барьера Валицкому спустился, слегка прихрамывая, молодой человек в сапогах и в гимнастерке. Он что-то сказал военному, проверяющему пропуска, и неожиданно обратился к Валицкому по имени-отчеству, как будто давно был с ним знаком:

— Прошу вас, Федор Васильевич, проходите.

В конце большой, светлой комнаты за столом, расположенным между двумя широкими окнами, сидел худощавый, черноволосый, с густыми, почти сросшимися на переносице бровями человек в гимнастерке, но без петлиц.

Когда Валицкий перешагнул порог комнаты, этот человек встал, вышел из-за стола и сделал несколько шагов ему навстречу.

— Здравствуйте, Федор Васильевич, — сказал он, протягивая Валицкому руку с узкой жилистой кистью.

То, что и Васнецов знает его имя-отчество, польстило самолюбию Валицкого. С чувством некоторой неловкости подумав о том, что не узнал заблаговременно, как зовут Васнецова, он, однако, легко подавил это чувство, снова сосредоточив все мысли на цели своего прихода.

Валицкий отметил про себя, что Васнецов молод, раза в два, очевидно, моложе, чем он сам, и тот факт, что его судьба находится в руках такого молокососа снова вызвал у Федора Васильевича чувство настороженности.

Однако до сих пор он еще не произнес ни слова. Молча и с холодным достоинством пожал он протянутую ему руку, однако не сразу, а выждав какое-то мгновение — привычка, усвоенная Валицким уже очень давно и помогающая ему сразу установить дистанцию между собой и своим собеседником, и обвел кабинет медленным взглядом, ища место, куда бы ему поставить свою палку.

— Прошу вас, — сказал Васнецов и пошел к столу.

Так и не решив, где оставить палку, Валицкий последовал за ним, опустился в кожаное кресло, указанное ему Васнецовым, и, держа палку между ногами, оперся на нее.

Васнецов сел за стол и, слегка наклонившись в сторону Валицкого, сказал сухо, но вполне корректно:

— Мне сказали, что у вас важное дело.

— Я не уверен, что дело, представляющееся мне важным, покажется таковым и вам, поскольку оно касается моей скромной особы, — сдержанно и подчеркнуто официально начал Валицкий. — Я был вынужден нанести вам визит в связи с вопросом о моей... — Он сделал паузу, стараясь найти какое-либо слово взамен непривычного, недавно услышанного, но не нашел и повторил то же самое: — Моей эвакуации.

Васнецов слегка нахмурил брови — теперь они окончательно скрыли переносицу, — чуть приподнял руку и сказал:

— Простите, одну минуту.

Он протянул руку к краю стола, вытащил из груды лежащей там горки папок одну, раскрыл ее, снова закрыл и сказал:

— Этот вопрос уже решен, Федор Васильевич. Вы будете эвакуированы в группе первой очереди. Вам нечего беспокоиться.

Он произнес эти слова ровным, но каким-то отчужденным, безразличным тоном.

— Товарищ Васнецов, — с силой опираясь на свою палку, точно желая пробуравить ею пол, сказал Валицкий, — я не льщу себя надеждой, что вам что-либо говорит мое имя. Поэтому осмелюсь заметить, что являюсь академиком архитектуры, удостоенным этого звания еще в одна тысяча девятьсот пятнадцатом году. По моим проектам в свое время, — он произнес эти два слова с особым ударением, — в этом городе построены дома! Я являюсь — если это говорит в мою пользу, — заметил он саркастически, — почетным членом ряда иностранных архитектурных обществ и...

Он вдруг умолк, увидя на лице Васнецова едва заметную усталую, снисходительную улыбку. Однако она тотчас же исчезла, как только Валицкий замолчал.

— Нам это известно, — по-прежнему ровно и отчужденно произнес Васнецов, — и, поверьте, мы постарались все это учесть. Вам и вашей супруге будет предоставлено купе в международном вагоне. Вы сможете вывезти необходимые вам... вещи. Правительство сделает все возможное, чтобы на месте нового жительства — им, очевидно, будет Свердловск — вам были бы созданы максимальные удобства. Максимальные в условиях войны, — добавил он, уже не скрывая горькую усмешку. — К тому же вы уедете в первую очередь. Раньше других. Вряд ли вы можете требовать от нас большего.

Васнецов отдернул левый рукав гимнастерки, посмотрел на часы и, уже не глядя на Валицкого, сказал:

— А теперь извините. Я очень занят.

Валицкий слушал со все возрастающим недоумением. Он уже несколько раз открывал рот, чтобы прервать Васнецова, но тот каждый раз, когда Федор Васильевич пытался что-то сказать, предостерегающе поднимал руку. Когда Васнецов умолк, Валицкий продолжал глядеть на него широко раскрытыми глазами, тяжело дыша и чувствуя, что у него голова идет кругом. Ему захотелось крикнуть: «Чушь!», «Бред!», «Нелепость!», — но вместо этого он растерянно произнес:

— Но... но... я никуда не хочу уезжать! Вы можете это понять? Никуда!

Однако ему показалось, что Васнецов не расслышал его слов или попросту не придал им никакого значения. И тогда Валицкий вскочил, вытянулся во весь свой огромный рост и, стуча палкой по полу, закричал:

— Мне не нужны ваши международные вагоны! Мне ничего не нужно, можете вы это понять?! — Он с силой отбросил в сторону свою палку и продолжал еще громче: — Я прошу только одного: чтобы меня оставили в покое! Я не рухлядь, не хлам, который можно сгрести лопатой и куда-то отправить! Вам не дано права! Я... я Сталину телеграфирую! Это произвол! Я...

Он осекся, увидев, что Васнецов смотрит на него пристальным и, как ему показалось, суровым взглядом, понял, что наговорил лишнего, что еще одно слово — и этот жесткий, с аскетическим выражением лица человек, несомненно обладающий большой властью, попросту велит ему оставить кабинет. Несколько мгновений длилось молчание. Валицкий стоял неподвижно, но уже не как прежде, вытянувшись во весь рост, а внезапно ссутулившись, по-стариковски, безвольно опустив свои длинные руки.

— Хорошо, — сказал он наконец глухо, едва внятно. — Видно, я мешаю вам работать. Простите. Все, что я сказал... неуместно. Мне просто хотелось... узнать правду. А теперь я уйду.

Он поискал взглядом свою отброшенную палку. Она лежала неподалеку, но Валицкий почувствовал, что у него нет сил нагнуться, чтобы поднять ее. Он медленно повернулся и, с трудом передвигая негнущиеся ноги, пошел к двери.

— Подождите! — раздался за его спиной негромкий голос.

Валицкий обернулся и увидел, что Васнецов встал из-за стола и идет к нему быстрой, пружинящей походкой.

Он подошел к Валицкому почти вплотную, дотронулся до рукава его пиджака и сказал негромко и неожиданно мягко:

— Извините. Мы, видимо, не поняли друг друга. Никто не принуждает вас уезжать. И все же... вам лучше уехать.

— Но почему? — снова обретая силы, воскликнул Валицкий.

— Потому что город... может подвергнуться опасности. Эвакуируя из Ленинграда наши материальные и... интеллектуальные ценности, мы сохраняем их для будущего. Поймите, это не эмоциональный вопрос. Это — требование военного времени.

Он говорил твердо, но медленно, с паузами, тщательно обдумывая каждое произносимое им слово.

И именно это обстоятельство, именно ощущение, что Васнецов недоговаривает нечто очень важное, решающее, поразило Валицкого больше всего.

Наконец он тихо спросил:

— Вы считаете положение серьезным?

— Да, — прямо глядя ему в глаза, ответил Васнецов, помолчал немного и добавил: — Вы же требовали от меня правды.

— Но почему же... — начал было Валицкий и умолк. Целый рой мыслей внезапно как бы обрушился на него. Он хотел спросить, почему мы отступаем, где же наши танки, пушки, самолеты, кто виноват в том, что немцев допустили на нашу землю, что думают маршалы и генералы, что, наконец, делает Сталин... Но не смог. Не потому, что боялся. Просто Валицкий почувствовал, что у него нет нравственного права задавать все эти вопросы. Он понял, что никто и ни в чем не обязан давать ему отчет, что сейчас нет и не может быть «спрашивающих» и «отвечающих» и что все они, в том числе и он сам, отныне объединены общим горем и общей ответственностью.

В этот момент дверь открылась, и чей-то громкий голос доложил с порога:

— Сергей Афанасьевич, заседание Военного совета начинается через две минуты.

В дверях стоял молодой военный с вытянутыми по швам руками и выжидающе смотрел на Васнецова.

— Иду, — коротко сказал тот.

Он торопливо вернулся к столу, взял толстую красную папку, раскрыл ее, пробежал глазами какую-то бумагу, снова захлопнул папку, поднял голову и сказал:

— Мне надо идти, Федор Васильевич. Простите.

Он сделал несколько шагов к двери, потом остановился, поднял брошенную Валицким палку и, протягивая ее Федору Васильевичу, сказал:

— Я думаю, что вам надо уехать. А за то, что хотели остаться, спасибо. Это все, что я могу вам сейчас сказать.

...В приемной Валицкого дожидался все тот же молодой человек в гимнастерке без петлиц, который привел его сюда. Он сделал приглашающее движение рукой и, пропустив Федора Васильевича в дверь первым, пошел рядом с ним по коридору.

Они спустились по лестнице к деревянному барьеру. Внезапно Валицкий остановился.

— Простите, — сказал он, обращаясь к сопровождающему его человеку, — сколько вам лет?

— Мне? — растерянно переспросил тот, но тут же ответил: — Двадцать семь.

— Вы... не в армии?

Он увидел, что его спутник густо покраснел.

— Н-нет... — ответил он. И добавил: — Нога вот у меня... Но завтра я ухожу отсюда. В отряд ПВО.

«Глупо, глупо, бестактно! — подумал Валицкий. — Я же видел, что он хромает».

Они подошли к барьеру. Молодой человек в гимнастерке и стоящий у барьера военный обменялись взглядами. Военный поднял ладонь к козырьку фуражки и сказал:

— Прошу.

Валицкий помедлил мгновение, потом обернулся к своему провожатому и сказал:

— Простите меня. Я стар и глуп.

И, не дожидаясь ответа, стал спускаться по лестнице.

...Тяжело опираясь на палку, он сделал несколько шагов по аллее, прикрытой маскировочной сеткой.

«Так, — мысленно произнес Федор Васильевич, — значит, я стар. Слишком стар. Вот так».

Он сделал еще несколько шагов и вдруг почувствовал боль в области сердца.

— Вам нехорошо? — раздался за его спиной голос.

Валицкий обернулся, увидел идущего следом за ним пожилого военного с прямоугольниками в петлицах и отрывисто бросил:

— Нет! С чего это вы взяли?

Он выпрямился, откинул голову и пошел вперед привычными, мерными шагами, стараясь заглушить боль в сердце...

XVIII

...Уже пылали западные рубежи нашей страны. Уже в первых захваченных городах и селах немцы устанавливали «новый порядок» — два страшных для наших людей слова, по буквам которых стекала человеческая кровь. Уже тысячи советских солдат и моряков предпочли смерть жизни на коленях, и десятки летчиков уже стартовали со своих аэродромов в бессмертие.

Они уходили из жизни как воины, как борцы, как герои.

Даже тогда, когда у них кончались боеприпасы, они стояли насмерть, сражаясь с врагом

до последнего пушечного снаряда, до последнего патрона, нередко приберегая последнюю пулю для себя.

Они не падали на колени перед врагом, не зарывали в землю свои лица перед танковыми лавинами, как того ожидал Гитлер, нет! Советские бойцы, еще вчера видевшие над собой мирное небо, еще не привыкшие к грохоту вражеских орудий и к разрывам фугасных бомб, они теперь, в эти страшные часы, с особой, всепроникающей силой почувствовали, осознали, как дорога им родина...

Война полыхала в западных районах, но уже изменилось лицо всей страны — улицы ее городов, шоссейные и проселочные дороги, — приняло новое, суровое выражение.

В мирное время жизнь армии обычно бывает скрыта от взоров миллионов людей. Она протекает за высокими каменными стенами казарм, на удаленных от населенных пунктов полигонах, в степных и лесных пространствах, где происходят маневры, на аэродромах, морских просторах, в штабных кабинетах.

Только два раза в год — на майские и ноябрьские праздники — жизнь армии как бы выплескивалась наружу, на центральные городские площади, на прибрежные морские воды и в обычно тихое, спокойное, видимое с каждой улицы, из каждого окна небо.

Война меняет облик города. Военные регулировщики, стоящие на перекрестках на месте привычных милиционеров, идущие строем красноармейцы, грузовики, неведомо откуда появившиеся танки и орудия — все это заполняет городские улицы, и люди, стоя на тротуарах, наблюдают с тревогой и надеждой все это необычное движение, понимая, что началась совсем другая, неизвестно что сулящая жизнь.

Меняется не только лицо улицы. На заводах и фабриках, в директорских кабинетах, в помещениях партийных комитетов все чаще и чаще появляются военные. На некоторых из них новое, не пригнанное по фигуре обмундирование, да и по походке этих людей, по их манере разговаривать можно легко узнать тех, кто еще вчера носил пиджаки и брюки навыпуск.

Со стороны кажется, что отныне армия берет в свои руки руководство повседневной жизнью миллионов людей, диктуя им новый, сурово-тревожный уклад, отсекая прошлое от настоящего. Но на самом-то деле тысячи партийных, советских и хозяйственных руководителей остаются на своих постах или заменяют ушедших на фронт, и партийные органы по-прежнему несут на себе все бремя организации и ответственности, бремя, которое в дни войны становится во сто крат тяжелее.

На глазах менял свой облик и Ленинград.

Первыми отметили это летчики, патрулирующие над городом, — они стали терять видимые ранее ориентиры. Прикрытый гигантской маскировочной сетью, Смольный исчез, превратился в пышущий буйной растительностью парк.

Казалось, исчезла и площадь Урицкого вместе с расположенными на ней Зимним дворцом и штабом округа.

Исчез погашенный защитной краской золотой блеск Исаакиевского купола, померкли знаменитые шпили Петропавловской крепости и Адмиралтейства...

Уже много коммунистов и комсомольцев ушло в армию по партийным путевкам. Уже десятки истребительных батальонов — первые ленинградские добровольческие формирования, созданные для борьбы с вражескими парашютистами и диверсантами, — несли круглосуточную службу на дорогах, ведущих в Ленинград, на улицах города и у предприятий, имеющих оборонное значение. По вечерам тысячи ленинградцев с красными повязками на рукавах пиджаков и спецовок занимали посты в подъездах домов, на чердаках и крышах.

И в то же самое время казалось, что внешне жизнь Ленинграда в те первые дни войны не изменилась и что на улицах города царит мир и спокойствие и нет и не может быть силы, способной подавить неистребимую жизнестойкость и веру в будущее, ключами бьющие в этом городе.

По-прежнему торговали цветами киоски на углах Невского. По-прежнему люди заполняли по вечерам парки, рестораны и кафе.

И казалось, что тревожные сообщения, зовущие к бдительности, красочные плакаты, покрывающие теперь стены домов, все еще воспринимаются людьми как нечто временное, инородное, не способное изменить то, что еще только вчера составляло привычный уклад их жизни.

Может быть, все это было так потому, что война шла еще где-то далеко, за сотни километров, — по крайней мере, так думалось ленинградцам, читающим запоздалые сводки Информбюро. Слишком сильна была их вера в могущество Красной Армии, желание любую ее неудачу истолковать как нечто несущественное, предусмотренное командованием и поэтому не могущее иметь серьезных последствий. Рождались слухи об уже достигнутых нашими войсками, но по каким-то высшим соображениям еще не объявленных решающих победах.

И, не находя сообщений об этих победах в утренней сводке Информбюро, люди все-таки верили, что узнают о них из сводки вечерней...

И только в прикрытом маскировочной сетью Смольном, откуда ни одна полоска света не пробивалась ночью из-за плотно зашторенных окон, только в здании штаба ЛВО на бывшей Дворцовой площади люди — военные и гражданские, не спящие вот уже третью ночь подряд, охрипшие от бесконечных телефонных переговоров, склонившиеся над картами, испещ-

ренными жалами направленных на Ленинград стрел, стоящие за согбенными спинами телеграфистов, следя, как ползут узкие бумажные ленты из аппаратов «Бодо» и «СТ», — эти люди уже понимали, как велика опасность и как быстро она приближается...

Нет, никому из них еще не было известно, что в планах Гитлера, в приказах наступающим немецким войскам Ленинград обозначен первоочередной целью начавшейся войны.

Но они уже знали о том, что к вечеру 22 июня танковые дивизии немцев прорвали пограничные рубежи Прибалтийского военного округа, что фашисты находятся северо-западнее Каунаса, что им удалось форсировать реку Неман.

Не принесли обнадеживающих известий и последующие два дня. Под натиском превосходящих сил немецкой группы армий «Север» советские войска в Прибалтике отступали с боями по расходящимся направлениям — в сторону Риги и от Каунаса в сторону Вильнюса и далее на Полоцк. При этом центральное направление: Вильнюс — Даугавпилс — Остров оказалось доступным для прорыва моторизованных и танковых дивизий противника...

Двадцать четвертого июня, около полуночи, Звягинцева вызвал к себе заместитель начальника штаба (теперь уже не округа, а фронта) полковник Королев. Майор с первого же дня войны был окончательно прикреплен к оперативному управлению и находился, по существу, в подчинении у Королева.

Не здороваясь — минувшие трое бессонных суток пролетели вообще как несколько часов, — Королев сообщил, что в Смольном, откуда он только что вернулся, принято важное решение. Там еще остались заместитель командующего и начальник инженерного управления — их задержал Жданов, — а для Звягинцева есть срочное задание...

Полковник сказал об этом майору сухо. Отношения между ними стали несколько натянутыми после того, как Звягинцев в первый день войны подал рапорт с просьбой откомандировать его из штаба в войска и пытался заручиться поддержкой в этом своем намерении заместителя начальника штаба. Королев в обидной форме отказал, сказав, что и трусость иногда выступает в обличье храбрости. Тогда Звягинцев молча повернулся и вышел из кабинета, дрожа от обиды. Теперь, будучи вызванным к Королеву, он решил про себя держаться, как и положено, на официальной дистанции.

Королев взял одну из лежащих на столе карт и жестом пригласил майора подойти поближе.

— Вот... Будем создавать рубеж обороны фронтом на юг...

— Куда? — вырвалось у Звягинцева.

— Я сказал — на юг! — резко повторил Королев. Провел ногтем по карте и добавил: — Вот так... По реке Луге.

Королев пристально посмотрел на Звягинцева, как бы удивляясь, что тот молчит. Он уже привык охлаждать горячность Звягинцева.

А Звягинцев молчал. Недавняя обида на Королева и связанные с ней мысли отступили, едва Королев произнес слова: «По реке Луге...»

Некоторое время они молча глядели друг на друга в упор, и Звягинцеву показалось, что в маленьких, обычно лишенных особого выражения глазах Королева он читает просьбу: «Не задавай лишних вопросов, без того горько».

Затем Королев деловым тоном, уже не глядя на Звягинцева, продолжал:

— Военный совет утвердил основные положения по строительству этого рубежа, доложенные заместителем командующего генералом Пядышевым. Руководство возложено на начальника инженерного управления. Мы начинаем немедленно рекогносцировку по секторам. От оперативного управления поедет несколько командиров. Ты назначен быть с ними. Поедешь с утра. Вопросы есть?

Но Звягинцев по-прежнему молчал. Потому что, хотя он и не пропустил ни одного слова из того, что говорил Королев, и в его привычном к картам представлении уже обрисовалась техническая сторона поставленной задачи, он все еще не мог усвоить тот страшный смысл, который заключался в произнесенных Королевым словах: «На Луге».

«На Луге, на Луге!..» — повторял про себя Звягинцев. Там, где ни он, ни, конечно, сам Королев никогда не допускали и мысли о возможных военных действиях! Все заботы, все тревожные взгляды работников штаба округа были всегда обращены только на север, к границе с Финляндией. Еще несколько дней назад само предложение строить укрепления на реке Луге, то есть мысль о возможности вторжения врага почти в центр России, прозвучало бы в лучшем случае нелепо, в худшем же — как проявление пораженчества.

Последовала длинная пауза, после которой Звягинцев нашел в себе силы спросить:

— Но... но как же так, Павел Максимович?.. Ведь у нас там... абсолютно ничего нет! Ни частей, ни... ведь весь наш план рассчитан на северное направление! А Прибалтийский округ?..

Королев стремительно повернулся к нему.

— Прекрати болтовню, майор Звягинцев! — гаркнул он с неожиданной злостью. — Ты что, думаешь, мы с тобой в номере гостиницы «Москва» сидим? Идет война, и она не на трибунах решается! Можешь ты это понять?!

— Я все могу понять, товарищ полковник, — с глубокой горечью произнес Звягинцев, глядя в упор на Королева, — именно поэтому

я сейчас еще больше, чем раньше, убежден, что мое место не в штабном кабинете, а в войсках. У меня, наконец, есть опыт финской войны, я строевой командир...

Он запнулся и умолк, увидя, как сжались огромные кулаки Королева и на его полном, одутловатом лице пошли красные пятна.

— Ах, вот оно что!.. — медленно произнес Королев, отступая на шаг в сторону и насмешливо меряя Звягинцева с головы до ног тяжелым, бычьим взглядом. — Как ваша фамилия, товарищ майор? Суворов? Или Кутузов? Руководство войсками изволите взять на себя? Может быть, на белом коне, шашку наголо и рысью на танки марш-марш?! Я уже говорил тебе: есть разные трусы...

— Товарищ полковник, — напрягаясь каждым своим мускулом, каждой мышцей, возмутился Звягинцев, — вы... не имеете права! Я коммунист и командир Красной Армии! Я знаю свое место и готов принять батальон, саперную роту, наконец!

— А дальше? — снова тоном едкой насмешки произнес Королев.

— А дальше — не ваша забота! — ослепленный обидой и возмущением, забывая о субординации, воскликнул Звягинцев. — Во всяком случае, я не побегу от врага, как некоторые другие, и, если надо, сумею умереть там, где буду стоять, — на своем рубеже! И вы не имеете права называть меня трусом!

— Имею! — опять гаркнул Королев. — Ты что, думаешь, меня громкой фразой обмануть можно? Думаешь, я в тайную твою мыслишку проникнуть не сумею? А хочешь, я ее сейчас тебе вслух разъясню? Ты укоров, ответственности боишься! Тебе важное дело поручают, оборонительный рубеж строить, сотни тысяч советских людей от врага заслонить! А ты о репутации своей печешься! Это, мол, не я — другие отступают! Я за Красную Армию ответственности нести не хочу, а только за себя, за свою роту! Я насмерть стоял, умереть не побоялся! А то, что моя смерть врага не остановила, — тут уж с меня взятки гладки!

— Кто может сказать, что стоять насмерть — значит быть трусом?! — снова негодующе воскликнул Звягинцев.

— А ты стой и умирай там, где тебя партия поставила! Место себе не выбирай! — перебил его Королев, махнул рукой и добавил: — Эх ты! И такого мы в партбюро выбирали!..

Наступило молчание. Звягинцев молчал, подавленный.

А полковник стоял в двух шагах от Звягинцева, все еще тяжело дыша. Он расстегнул воротник гимнастерки, и стали видны набухшие вены на его короткой шее.

— Что мне надлежит делать? — автоматически спросил Звягинцев.

— Выполнять приказ, — отрывисто бросил Королев. Потом он покрутил головой, застегнул ворот, провел пальцами под ремнем, оправляя гимнастерку, подошел к Звягинцеву и положил руку на его плечо. — Не обижайся. Что заслужил, то и получил, — сказал он неожиданно мягко, — готовностью умереть не кичись. Нам побеждать, а не помирать надо научиться... И рефлексии свои брось. В мирное время они еще так-сяк. Терпимы. Кое-кому даже нравятся — вот он, мол, какой! Не бурбон — философ! А сейчас — война. Жестокая вещь. Кончится — в военно-научное управление пошлем. Будешь анализировать. А сейчас... не присваивай себе права только критиковать и спрашивать, Алексей! Спрашивать всегда легче, чем отвечать. Понял, ну?..

Он пристально посмотрел в глаза Звягинцеву. И тому показалось, что он снова прочел во взгляде Королева тайную мысль: «Пойми, ни я, ни ты не виноваты, что все так сложилось. И выяснять все это сейчас ни к чему. Не время. Получил приказ — и выполняй его. И высший смысл нашей жизни сейчас — это выполнять свой долг. И больше мне нечего тебе сказать. Сегодня — больше нечего».

— Разрешите идти? — тихо спросил Звягинцев.

— Идите, — ответил Королев.

Звягинцев сделал строевой поворот и вышел из кабинета.

Не только Звягинцев, но и еще ряд командиров штаба и инженерного управления получили в тот поздний час приказ немедленно приступить к рекогносцировкам и разработке плана строительства рубежей к югу от Ленинграда.

Звягинцеву был задан район города Луги — в центре направления со стороны Пскова.

Вернувшись в свой маленький кабинет на первом этаже, с единственным окном, прикрытым изнутри решеткой, а теперь еще и синей, из плотной бумаги маскировочной шторой, Звягинцев взглянул на часы, открыл сейф, вынул карту и разложил ее на столе.

Как и многие командиры в инженерном управлении округа, Звягинцев был достаточно хорошо осведомлен о состоянии оборонительных сооружений на границе с Финляндией. В том, что новый Выборгский укрепленный район, прикрывающий Ленинград на самом близком направлении, хотя и не полностью оборудован, однако находится в состоянии боевой готовности, он недавно убедился сам.

Но с юга Ленинград не имел такого прикрытия. Об укрепленных районах под Псковом и Островом — на бывшей границе с Латвией и Эстонией — Звягинцев знал только то, что два года назад они были законсервированы, а часть их оборудования и вооружения демонтирована.

Карта у Звягинцева была крупномасштабной, и он после некоторых размышлений и пред-

варительных набросков на ней встал из-за стола и подошел к другой, висевшей на стене мелкомасштабной карте Ленинградской области и стал вглядываться в ее общие очертания, в расположение на карте городов, рек и озер.

Остров, Псков, река Плюса, Луга, Ильмень... Звягинцев бывал в тех местах и сейчас пытался зрительно представить разные варианты рубежей по рельефу, по расположению городов, как вдруг вздрогнул и, точно притянутый невидимой нитью, почти вплотную приблизил лицо к карте. Несколько севернее города Острова он увидел черную, едва заметную точку, над которой микроскопическими, но четкими буквами шла надпись: «Белокаменск».

«Вера!» — мысленно воскликнул он и повторил недоуменно, точно сам себе не верил: «Как же это так? Ведь там же Вера!..»

Звягинцев напряженно вглядывался в маленькую черную точку, и перед его глазами как бы возникли туманные картинки маленького, глухого провинциального городка — немощеные улицы, обсаженные деревьями, колодцы, водоразборные колонки, садики, домики со ставнями...

И в одном из них она, Вера, совершенно не подозревающая о грозящей опасности.

Звягинцев взглянул на масштаб карты и снова на черную точку. Белокаменск находился в нескольких километрах от Острова. Еще час назад он считал эти места если не глубоким, то, во всяком случае, достаточно отдаленным тылом. Теперь все изменилось! Полученное им задание свидетельствовало, что у командования есть самые серьезные основания считать весь тот район возможным театром военных действий.

Что же делать? Как предупредить Веру, чтобы она немедленно возвращалась? Через ее отца? Но ведь они виделись два дня назад в Смольном и говорили о том, что Вере следовало бы вернуться... Может быть, она уже вернулась?.. А если нет? Что, если после сообщений в газетах о попытках налетов фашистской авиации на Ленинград и родителям Веры, и ей самой показалось, что там, в этом тихом Белокаменске, безопаснее переждать войну?..

«Переждать войну!..» — мысленно повторил он с горькой усмешкой. Нет, надо немедленно выяснить, вернулась ли Вера. А если нет, то предупредить ее отца. Разумеется, предупредить спокойно, не вызывая лишних опасений и вопросов. Не говорить ни слова о решении строить оборонительные рубежи на Луге — пока это военная тайна, — но дать ему понять, что для Веры будет лучше, если она немедленно вернется в Ленинград.

Так или иначе, но надо срочно переговорить со старшим Королевым. Номер телефона Веры Звягинцев знал, аппарат стоял на столе, он решительно потянулся к трубке...

Но в этот момент другая мысль заставила его опустить руку: «Поздно! Половина первого ночи!» Звонок в такое время неминуемо вызовет переполох в доме Королевых!

Но что же делать? Надо все же звонить... Не исключено, что Вера уже вернулась и теперь сама подойдет к телефону. Тогда можно будет, не называя себя, спокойно повесить трубку. А если ответит ее мать? Как он сможет ей объяснить? Попросит разбудить Ивана Максимовича?..

Несколько мгновений Звягинцев продолжал колебаться, раздумывая, стоит ли звонить именно сейчас или дождаться утра. Посмотрел на разложенную на столе карту, где он уже отметил вчерне район и границы предстоящих рекогносцировок и работ. Потом решительным движением снял трубку и назвал знакомый номер.

Некоторое время никто не отвечал. Звягинцев все сильнее сжимал трубку в надежде, что пройдет еще секунда-другая — и ему ответит сама Вера, но в трубке царило молчание. Внезапно раздался щелчок, и приглушенный мужской голос произнес:

— Слушаю.

— Товарищ Королев? Иван Максимович? — нерешительно спросил Звягинцев, хотя сразу же узнал его голос.

— Я.

— Простите, что разбудил, — начал Звягинцев, чувствуя, что голос его звучит взволнованно, и изо всех сил стараясь говорить спокойно, — это Звягинцев.

— Кто? — недоуменно переспросил Королев.

— Я, я, Алексей Звягинцев!.. Наверное, разбудил вас?

— А-а, майор!.. — раздалось в трубке. — Что случилось?

— Нет, нет, ничего, — поспешно ответил Звягинцев, все еще пытаясь придать своему голосу обычное звучание. — Я не разбудил вас? — снова повторил он, сознавая, что на этот раз вопрос его звучит глупо.

— Ничего ты меня не разбудил, — ворчливо ответил Королев, — я на казарменном живу. Зашел домой белье сменить. Что случилось-то, спрашиваю?

— Нет, нет, ничего! Просто хотел узнать... Вера вернулась?

— Еще нет, — ответил Королев после короткой паузы.

— Она все еще там?.. В Белокаменске? — спросил Звягинцев упавшим голосом.

— Послушай, майор! — Голос Королева звучал строго, и в нем явно прозвучали нотки тревоги. — Я тебя спрашиваю, что случилось?

— Иван Максимович, ей надо вернуться! Вы же помните, мы еще там, в горкоме, об этом говорили! Вы должны ей велеть срочно возвратиться в Ленинград.

— Ве-леть! — насмешливым тоном повторил Королев. — А ты вот всегда делал то, что родители велели?

— Но поймите, это очень серьезно! — уже не думая о том, как скрыть свое волнение, почти закричал Звягинцев. — Ведь война идет!

— Спасибо, что объяснил, — с горечью ответил Королев, помолчал немного и сказал: — Для нас с тобой война, а у нее... Заболел там кто-то. Ну, парень ее, понял? Я сегодня с Белокаменском по междугороднему разговаривал.

— Но... разве она поехала не одна?! — вырвалось у Звягинцева.

— Выходит, что не одна.

— Да... да... Я понимаю, — бессвязно пробормотал Звягинцев и вытер рукавом гимнастерки взмокший лоб, — но вы все-таки скажите... скажите ей, что надо обязательно возвращаться...

Не дожидаясь ответа, он медленно положил трубку на рычаг.

«Ну, вот так... — мысленно произнес Звягинцев, — все ясно. Нечего мне о ней беспокоиться...»

Кто этот парень? Как его зовут? Николай? Нет, Анатолий. Тот самый студент. Ну, конечно, она поехала с ним. Что же, значит, у нее есть надежная защита. Высокий, широкоплечий... На руках вынесет в случае чего... Заболел? Что с ним могло случиться, с этим верзилой?

Но, странное дело, несмотря на чувство горечи, которое испытывал Звягинцев, он в то же время ощущал и облегчение от сознания, что в такое время Вера не одна, что рядом с ней находится человек, который сможет помочь ей, защитит в трудную минуту.

Раздался телефонный звонок. Звягинцев поспешно схватил трубку с тайной надеждой, что снова услышит голос Королева-старшего. Не сознавая того, что тот позвонить ему не мог, хотя бы потому, что не знал его служебного телефона, Звягинцев поспешно спросил:

— Товарищ Королев?

— Я, — ответил немного удивленный полковник. — Ты что, через стены видишь?

— Нет, нет, простите, — сбивчиво ответил Звягинцев, — просто я работаю над вашим заданием и...

— Ну и хорошо, что работаешь, — удовлетворенно сказал полковник, — предупреждаю: генерал Пядышев из Смольного звонил, справлялся. Скоро вернется, тогда вызовет всех, кто работает над заданием. У меня все. Действуй!

— Слушаю, — сказал Звягинцев и, повесив трубку, с тревогой посмотрел на часы...

К заместителю командующего адъютант вызвал Звягинцева в два часа ночи. Генерал выслушал короткие сообщения всех работавших над планом строительства, сделал необходимые коррективы и, напомнив, что задание весьма срочное, приказал продолжать уточнять все расчеты.

Звягинцев вернулся к себе, бросил взгляд на стоявшую у стены узкую койку-раскладушку, на которую не ложился уже третью ночь, и погрузился в работу.

Он работал сосредоточенно, тщательно, но чем больше углублялся в расчеты, тем сильнее его одолевала тревога.

Теперь уже не сам факт необходимости возводить укрепления под Лугой волновал его, с этим он уже свыкся, будучи поглощен выполнением задания. Другая мысль, другой вопрос неотвратимо вставали перед ним: как, какими средствами можно будет реализовать это задание, реализовать не на картах, не в расчетах, а в реальности? Откуда возьмет командование целую армию? Ведь для того чтобы воплотить все расчеты в бетон, металл, построить дзоты, эскарпы, блиндажи, земляные укрепления, потребуются десятки тысяч людей, тысячи и тысячи рук!

Может быть, у командования есть договоренность с Москвой и эту дополнительную армию перебросят сюда, под Ленинград, из резервов?..

...Ночь кончалась, когда Звягинцев, чувствуя, что обозначения на карте и цифры расплываются перед его глазами, встал из-за стола, сел на койку, снял сапоги, поясной ремень и, расстегнув ворот гимнастерки, собрался было уже прилечь хотя бы на час, но в этот момент снова раздался телефонный звонок.

На этот раз звонил лично генерал Пядышев. Он приказал Звягинцеву немедленно, взяв карту и свои расчеты, выехать в Смольный, к Жданову.

Несколько мгновений Звягинцев растерянно молчал. Затем переспросил генерала, правильно ли понял приказание и надлежит ли ему явиться лично к Жданову.

— Не тратьте времени, товарищ майор, машина за вами послана, — сказал генерал и добавил: — Член Военного совета Жданов хочет поговорить с одним из непосредственных исполнителей расчетов. Поедете вы.

— Но о чем я должен докладывать товарищу Жданову? — все еще растерянно спросил Звягинцев.

— Ответите на вопросы, которые будут заданы, — уже с некоторым нетерпением сказал генерал и добавил: — В пределах вашей компетенции и вашего задания. У меня все.

Раздался разъединяющий щелчок.

Звягинцев повесил трубку и после нескольких мгновений нерешительности стал торопливо складывать в портфель карты и расчеты, пытаясь представить себе, какие именно вопросы задаст ему Жданов, секретарь ЦК и обкома партии, член Военного совета фронта.

...«Эмка», выкрашенная в серо-зеленые, камуфлирующие цвета, уже ждала Звягинцева. Сидевший за рулем молодой красноармеец при виде выходящего из подъезда майора потянулся к противоположной двери кабины и толчком открыл ее.

Звягинцев сел рядом с водителем, положил портфель на колени и торопливо сказал:

— В Смольный. Побыстрее!..

Шофер повернул ключ зажигания, рывком, со звоном включил скорость, и машина тронулась.

Только сейчас Звягинцев заметил, что по небу шарят лезвия прожекторов. Он прислушался. Откуда-то очень издалека, заглушаемый шумом мотора, доносился гул зенитной стрельбы.

— Сейчас объявят тревогу, — сказал он.

— А она уже два часа как объявлена! — охотно откликнулся шофер.

«Вот как?» — удивленно подумал Звягинцев, за работой он даже не расслышал предупреждений по радио.

— А я люблю ночью ездить, — продолжал словоохотливый водитель, — всегда в разгон прошусь! Ни тебе людей, ни машин! Мчишься, как царь дорог! Но-но! — предупреждающе воскликнул он, увидя, как с тротуара, наперерез машине, шагнул было милиционер. — Глядеть надо! — И ткнул пальцем в пропуск — квадрат картона, прикрепленный к ветровому стеклу.

Звягинцев с улыбкой посмотрел на своего водителя. И ему подумалось, что этот молодой, с белесыми глазами парень в лихо надвинутой на бровь пилотке, наверное, еще воспринимает войну как нечто романтическое, тревожно-волнующее, но отнюдь не опасное. «Если бы ты знал, с каким заданием я еду в Смольный!» — подумал Звягинцев.

— Товарищ майор, — снова заговорил шофер, — а правду говорят, что наши под Берлином десант высадили? С тыла, значит?

— Не знаю, не слышал, — ответил Звягинцев.

— А в городе говорят! — не унимался водитель. — Я вот вечером одного генерала возил, тоже спрашивал. Молчит! По виду его чувствую, что знает, а молчит. А вам, выходит, неизвестно?

Эти последние слова он произнес с нотками снисхождения в голосе, явно давая понять, что и не ожидал другого ответа от командира столь невысокого по сравнению с генералом звания.

Он гнал машину по пустым улицам, не соблюдая правил движения, то по правой, то по левой стороне, явно наслаждаясь своими неограниченными возможностями.

За какие-нибудь пятнадцать минут они миновали большое расстояние от штаба до Смольного.

Не доезжая метров тридцати до ворот, шофер резко остановил машину — она жалобно скрипнула тормозами — и сказал:

— Приехали, товарищ майор. Дальше нельзя — новый приказ вышел. Я за углом ждать буду, где трамвайный круг. Туда и подойдете.

Звягинцев вышел из машины и собирался было уже захлопнуть дверцу, когда снова раздался голос шофера. Перегнувшись через сиденье, он крикнул ему вслед:

— А вы, товарищ майор, если к случаю придется, узнайте у начальства-то! Ну, насчет десанта. Там-то, — он кивнул в сторону Смольного, — небось все известно. Вы не думайте, в случае чего я молчок. Службу знаю...

Прошло всего трое суток с тех пор, как Звягинцев вышел из Смольного, но ему показалось, что он не был здесь очень давно.

И не только потому, что за это время неузнаваемо изменился внешний вид Смольного, подъезд к которому был прикрыт гигантской маскировочной сетью, а для того, чтобы проникнуть в само здание, Звягинцеву пришлось трижды предъявить свое удостоверение на постах, начиная от ворот, и трижды молодые лейтенанты из охраны тщательно сверяли его фамилию со своими списками. Изменилась сама атмосфера внутри Смольного. Обычно тишина царила в его бесконечных коридорах, и люди как бы терялись в них, становились незаметными.

Правда, уже в ту предвоенную ночь, когда Звягинцев шел на совещание к Васнецову, на втором этаже царило необычайное оживление.

Но сейчас уже весь Смольный, все его коридоры чем-то напомнили Звягинцеву тот старый Смольный, который он знал только по кинофильмам, посвященным Октябрьской революции. По коридорам озабоченно сновали люди, многие из них были в военной форме, армейской и морской, и Звягинцев, как кадровый командир, мгновенно заметил, что форму эту они надели совсем недавно. Бойцы-связисты, стоя на лестницах-стремянках, тянули по стене, под карнизом, телефонный провод. Торопливой походкой, но не смешиваясь с остальными людьми, обгоняя их, проходили фельдъегеря — их легко было узнать по фуражкам с синим верхом и по одинаковым большим клеенчатым портфелям. Время от времени на пути Звягинцева по длинным коридорам открывались двери, и из комнат выходили люди, на ходу читая какие-то листы бумаги или узкие телеграфные ленты, а вслед им неслась мягкая дробь пишущих машинок. На стенах, обычно гладких и, казалось, всегда свежевыкрашенных, теперь висели военные красочные плакаты... Звягинцев не знал, на каком этаже находится кабинет Жданова. Ему не пришло в голову спросить об этом генерала Пядышева, и теперь, бродя по коридорам Смольного, он надеялся, что найдет этот кабинет по табличкам с указанием фами-

лий, которые, как помнилось Звягинцеву, висели еще три дня назад на каждой двери.

Но сейчас табличек не было. О них напоминали только узкие светлые следы на дверях.

В этой настороженной, тревожно-деловой атмосфере Звягинцев как-то не решался спросить первого встречного, где находится кабинет Жданова. Он уже собрался вернуться на пост охраны, чтобы узнать номер нужной ему комнаты, повернулся и лицом к лицу столкнулся с выходящим в этот момент из дверей ближайшей комнаты Васнецовым.

Лицо Васнецова было сурово-сосредоточенным, густые брови сдвинуты на переносице. Еще секунда, и он прошел бы мимо, даже не взглянув на Звягинцева.

— Товарищ Васнецов! — тихо окликнул его Звягинцев, но тут же вытянулся в положение «смирно» и уже громче повторил: — Разрешите обратиться...

Васнецов остановился, рассеянно посмотрел на Звягинцева, видимо все еще занятый своими мыслями, но тут же сказал:

— А-а, товарищ майор!..

Потом чуть заметно улыбнулся и добавил:

— Хотелось бы мне, чтобы ты тогда оказался неправ. Всем нам хотелось...

Улыбка исчезла с его лица, брови снова сурово сдвинулись. Он сказал:

— Впрочем, об этом сейчас говорить нечего.

И пока Звягинцев соображал, к чему относились его слова, добавил уже суше:

— К товарищу Жданову?

— Да... но я не знаю, где его кабинет! — поспешно произнес Звягинцев.

— Здесь, — сказал Васнецов, он показал в сторону двери, из-за которой только что появился, и добавил: — Доложите его помощнику Кузнецову, что прибыли.

В небольшой комнате за желтым, с откинутой гофрированной крышкой секретером сидел средних лет человек в штатском. Слева от него стоял стол, уставленный телефонами.

Звягинцев остановился на пороге и, по укоренившейся военной привычке, громко произнес:

— Разрешите?..

Кузнецов поднял голову от бумаги, которую в этот момент читал, и, не то спрашивая, не то утверждая, ответил:

— Товарищ Звягинцев?.. Сейчас доложу Андрею Александровичу.

Он встал, подошел к расположенной слева от секретера обитой кожей двери, повернул торчащий в замке маленький плоский ключ и скрылся за дверью. Через мгновение он вернулся снова и сказал:

— Обождите немного. Товарищ Жданов сейчас закончит... Присядьте.

Звягинцев не понял, что именно закончит Жданов — совещание или какой-то телефонный разговор, но спрашивать, естественно, не стал и сел на один из стоящих вдоль стены стульев.

Неожиданно он подумал: «А в каком звании Жданов? Ведь теперь он является членом Военного совета...»

Однако задавать вопросы снова погрузившемуся в чтение бумаг Кузнецову Звягинцеву казалось неудобным, и он приготовился терпеливо ждать, мысленно повторяя слова своего предстоящего доклада, содержание которого он продумал, еще когда ехал в машине. Однако ждать пришлось недолго. Прошло всего лишь несколько минут, обитая кожей дверь снова раскрылась, и оттуда торопливо вышел незнакомый Звягинцеву генерал. Звягинцев вскочил, вытягиваясь. Встал и Кузнецов.

Дверь снова отворилась, пропуская контр-адмирала и двух полковников. Они быстро миновали приемную и скрылись.

— Проходите, товарищ майор, — сказал Кузнецов.

Звягинцев, открывая дверь, готовился уже произнести уставные слова о прибытии, но увидел, что оказался в небольшом темном тамбуре. Он вытянул руку, нащупал следующую дверь и легонько нажал на нее...

В большой, ярко освещенной, устланной ковром комнате, вдоль стоящего посредине длинного стола с картами медленно прохаживался невысокий полный человек. На нем был наглухо застегнутый френч с накладными карманами и заправленные в сапоги брюки гражданского покроя, слегка нависающие над голенищами.

«Как у Сталина!» — мелькнуло в сознании Звягинцева. Он вытянулся, все еще стоя у порога, и приготовился было рапортовать, но в этот момент Жданов остановился, внимательно посмотрел на майора своими чуть выпуклыми, темными, казалось, лишенными зрачков глазами и сказал:

— Здравствуйте, товарищ Звягинцев.

— Товарищ член Военного совета, по приказанию заместителя командующего... — начал докладывать Звягинцев, но Жданов, который уже направился к нему, не дослушал рапорта и, протянув руку, снова сказал:

— Здравствуйте.

В правой руке Звягинцев держал портфель, поэтому он смешался, попытался быстро перехватить портфель из правой руки в левую, но Жданов, видимо заметив его замешательство, приподнял свою протянутую для рукопожатия руку, чуть дотронулся до плеча Звягинцева и сказал:

— Товарищ Пядышев назвал вас как одного из непосредственных исполнителей подготовки плана работ на Лужском направлении. Его мнение о намеченных работах нам известно. Хотелось бы услышать и мнение исполнителей. Например, ваше, товарищ Звягинцев.

У Жданова был негромкий, но звучный тенорок. Слова он произносил спокойно, размеренно и, казалось, подчеркнуто избегал военных оборотов речи. Они все еще стояли у дверей. Но, закончив говорить, Жданов не стал дожидаться ответа, а, сделав жест по направлению к стоящему в центре комнаты столу, сказал:

— Карта Лужского района — там. Впрочем, вам, возможно, удобнее пользоваться своей.

Он подошел к столу и ребром ладони сдвинул лежащие там карты, освобождая место.

Молча, стремясь выиграть время и собраться с мыслями, Звягинцев стал вынимать из портфеля карту, положил ее на стол. Потом вынул блокнот с расчетами, положил его рядом и, заметив, что Жданов терпеливо, но пристально следит за его приготовлениями, понял, что дальнейшее промедление невозможно, взял из стоящего на столе пластмассового стаканчика один из остро отточенных карандашей и начал:

— Товарищ член Военного совета... Весь рубеж предусмотрен, насколько мне известно, по берегу реки Луги от ее устья у Финского залива и до озера Ильмень. И еще впереди, перед городом Лугой, на рубеже реки Плюсы, будет полоса заграждений, мы называем ее предполье.

Звягинцев показал карандашом направления, уже намеченные на карте, и с удовлетворением отметил, что голос его звучит уверенно и твердо. Жданов склонился над картой, следя за движением карандаша, и Звягинцеву были видны его гладкие волосы, разделенные косым пробором.

— Я получил задание подготовить план работ и расчеты в центральной части всей полосы — в районе города Луги. — Он запнулся и умолк, заметив, что Жданов уже не следит за движениями его карандаша, а стоит выпрямившись, глядя куда-то поверх склоненной головы Звягинцева.

И тогда Звягинцев тоже выпрямился и вопросительно поглядел на Жданова.

— Товарищ Звягинцев, — снова раздался ровный голос Жданова. — Все направления мы уже обсудили с командованием...

Он сделал паузу, точно отвлеченный какими-то другими мыслями, и неожиданно спросил:

— А вот каково ваше личное мнение, товарищ Звягинцев?

Звягинцев недоуменно поглядел на Жданова, стараясь понять точный смысл заданного вопроса. Может ли быть, думал он, что его и в самом деле интересует мнение какого-то майора после того, как все районы укрепленных полос уже намечены и обсуждены с высшим командованием! Да, кроме того, ведь и он, Жданов, сам только что сказал, что направления уже выбраны. О чем же он тогда спрашивает? Однако Жданов пристально-выжидающе глядел на Звягинцева, и тот нерешительно сказал:

— Я тоже думаю так, товарищ член Военного совета. Если строить укрепления к югу от Ленинграда, то наиболее выгодными являются те рубежи, о которых вам доложено.

— Это ответ дипломата, — чуть щуря темные, выпуклые глаза, сказал Жданов, однако в спокойном голосе его, казалось, не прозвучало ни недовольства, ни осуждения.

— Простите, товарищ член Военного совета, — смущенно пробормотал покрасневший Звягинцев, — но я не вполне понял...

— Вы сказали: «Если строить укрепления к югу от Ленинграда...» У вас есть сомнения в том, что их надо строить?

— Я... Я не знаю, — сказал окончательно сбитый с толку Звягинцев, — это решает командование... Обстановка на фронтах мне недостаточно хорошо известна... все наши усилия всегда были направлены на укрепление северной границы...

Жданов пристально посмотрел на Звягинцева, помолчал немного и сказал:

— Вы правы. Не обижайтесь. Я задал вам этот вопрос потому, что мне хотелось бы знать настроение... — Он сделал паузу, точно не удовлетворенный этим словом и подыскивая другое, — ...психологическое состояние работника штаба. Вы ведь участвовали в войне с белофиннами, верно? — неожиданно спросил он.

— Да. С самого начала.

— Так... — задумчиво сказал Жданов, сделал несколько шагов вдоль стола и, вернувшись обратно к Звягинцеву, сказал: — Вы должны понять, точнее, все мы должны понять, — повторил он на этот раз с особым ударением, — что эта война особая. Не похожая ни на гражданскую, ни на Халхин-Гол, ни на финскую. Эта война... на жизнь и на смерть.

Таких точно сформулированных слов в применении к этой идущей уже четвертые сутки войне Звягинцев еще не слышал ни от кого.

Жданов сказал все это своим сдержанным, лишенным всякой аффектации голосом человека, привыкшего терпеливо и без раздражения разъяснять то, что неведомо его слушателям, и от этого заключенный в его словах смысл прозвучал особенно весомо. И если еще несколько минут назад ему хотелось задать именно Жданову тот вопрос, который он тщетно задавал и себе и Королеву, то теперь, после негромко произнесенных Ждановым, но звучных и тяжелых, точно удары молота по наковальне, слов, Звягинцев понял, что все его вопросы излишни.

Снова он услышал ровный голос Жданова:

— Мы должны ожидать нападения отовсюду. С моря и с воздуха. С севера, с запада и с юга. И поэтому задача состоит в том, чтобы

встретить врага во всеоружии. Откуда бы он ни появился.

Жданов подошел к столу и некоторое время смотрел на карту. Потом обернулся к Звягинцеву и спросил:

— Сколько же нужно времени для производства работ и сколько потребуется людей? Вы это подсчитали в инженерном управлении?

Именно об этом больше всего думал Звягинцев с того момента, как узнал, что его вызывает Жданов. Он схватил было блокнот с расчетами, но тут же отложил его в сторону. «Зачем? — подумал Звягинцев. — Ведь эти цифры я знаю наизусть».

— Товарищ Жданов, — сказал он, впервые называя его по фамилии, — строительство укреплений силами наших инженерных войск потребует не менее трех месяцев...

— А оно должно быть закончено не позже, чем через две-три недели, — медленно, как бы продолжая его фразу, произнес Жданов.

— Но... но это невозможно! — твердо сказал Звягинцев. — Потребуется такое огромное количество людей, которого мы не имеем! Конечно, если главнокомандование выделит нам дополнительно армию, тогда...

— Это исключено, — строго, но по-прежнему не повышая голоса, прервал его Жданов.

— Но поймите, — уже забывая о субординации и думая о том, что Жданов — партийный руководитель — не понимает, не представляет себе ни масштабов, ни сложности инженерных работ, воскликнул Звягинцев, — ведь потребуются десятки тысяч человек, может быть, даже сто тысяч! Откуда их взять?! Оголить северные рубежи? Кто даст нам этих людей?

— Партия, — спокойно, без всякого пафоса сказал Жданов. — На строительство выйдут тысячи коммунистов ленинградской партийной организации. Тысячи беспартийных. Все, кому дорога Советская власть. Все, кто не в армии. Все, кто может держать в руках лопату. Под руководством военных товарищей, в том числе, видимо, и под вашим руководством, товарищ Звягинцев, они построят эти укрепления...

Звягинцев слушал молча. В самом деле, почему же он-то в своих расчетах исходил из одного источника — армии, воинских частей, почему он исключил все население, народ? Забыл?

— Я знаю, у вас есть еще вопрос, — снова заговорил Жданов. — Вы, вероятно, хотели бы спросить: а зачем тогда я вызвал вас? О принятом обкомом решении достаточно сообщить командованию... Так?

Звягинцев по-прежнему молчал, думая о своем и о том, что отвечает себе теперь как бы словами Жданова.

— Нет, недостаточно, — продолжал Жданов. — Не только высшие командиры, но и все остальные, все, до красноармейца включительно, должны знать, что в этой войне армия и народ будут сражаться рядом. Вы сказали мне о масштабах работ на рубеже. А я хочу, чтобы вы прониклись мыслью о масштабах войны. В своих расчетах вы принимали во внимание лишь армию. Измените их. Примите в расчет все силы и средства народного хозяйства. Все, именно все...

— Да, товарищ член Военного совета, — автоматически ответил Звягинцев, мысли которого словно вернулись в штаб, в маленькую комнатку с зарешеченным окном. Его уже захватили иные соображения, он хотел бы немедленно начать считать, сколько населения и транспорта потребуется в первый, второй, третий день, как вдруг снова услышал голос Жданова:

— Но, товарищ Звягинцев, я вызвал вас не только для того, чтобы сказать сегодня то, что вы будете все равно знать завтра.

Он подошел к нему почти вплотную и спросил:

— Вы располагаете сведениями о количестве мин и взрывчатых веществ, имеющихся на ваших складах?

Этот совсем новый вопрос застал Звягинцева, который полагал, что разговор уже закончен, врасплох. Он как-то механически ответил, что взрывчатки и мин в распоряжении инженерного управления относительно немного, в особенности если принять во внимание и потребность того плана, о котором только что шла речь.

— Так, — согласно кивнул Жданов. — А если нам придется еще создать базы и для партизанских отрядов в лесах и в болотах между Гдовом и Лугой?.. Правда, кое-что мы уже предприняли... — добавил он как бы про себя.

— Партизанские отряды? — ошеломленно повторил Звягинцев.

— Почему вас удивляет слово «партизаны», если стало ясным, что воевать придется не только армии, но и народу? Скажите, вы могли бы указать на карте, где, по вашему мнению, следовало бы такие базы создать? Исходя из начертания рубежей обороны? — Голос Жданова прозвучал сухо и строго.

Звягинцев склонился к карте и после недолгого размышления поставил на ней два кружка.

Жданов внимательно посмотрел на них, потом взял из стаканчика красный карандаш и обвел им эти кружки.

— Так. Допустим, что здесь, — сказал он как бы про себя. — Я попрошу вас — доложите об этом лично вашему начальнику. Лично, — подчеркнул он. — Передайте, пусть обратится за недостающей взрывчаткой во Взрывпром. Гражданские работы нам, пока не кончим войны, придется прекратить, — добавил он, делая жест, как бы отрубающий что-то.

— Слушаю, — уже четко, по-строевому сказал Звягинцев. — Ваше указание будет не-

медленно передано лично начальнику инженерного управления. Мне все ясно, товарищ член Военного совета...

— Нет, товарищ Звягинцев, нет, — покачал головой Жданов, — вам ясна лишь первая часть задачи. Здесь есть и вторая. Вам придется и руководить закладкой этих баз. Мы полагаем, что во время строительства укреплений это можно будет сделать с соблюдением большей скрытности. А командование нам порекомендовало майора Звягинцева как человека, на которого можно положиться. Вы, кажется, рветесь на фронт. Это верно?

— Но... но, товарищ Жданов, — воскликнул Звягинцев, — я просил направить меня в действующую часть и получил отказ!

— Так вот это и будет, возможно, ваш фронт, товарищ Звягинцев, — сказал Жданов и поочередно указал карандашом на красные кружки. — Возможно, очень важный фронт.

Наступило молчание.

— Разрешите идти? — спросил Звягинцев.

— Да, конечно, — совсем по-граждански ответил Жданов. — Впрочем, одну минуту...

Он подошел ближе и сказал:

— А ведь я вас помню, товарищ Звягинцев, очень хорошо помню. И речь вашу запомнил тогда, в Кремле... Вот она и наступила — война. На жизнь и на смерть...

...Было уже утро, когда Звягинцев вышел из ворот Смольного.

На площади среди других машин стояла и его серо-зеленая «эмка». Шофер увидел Звягинцева издалека и, высунувшись из открытой двери, крикнул:

— Сюда, товарищ майор!

Гигантский город стоял тихий и суровый. На белесом небе ползали почти уже неразличимые лучи прожекторов.

— А отбоя так еще и не давали, — снова весело заговорил водитель, — а только я из машины не уходил. Этак ног не хватит при каждой тревоге в подвалы сигать! Другие шоферы попрятались, а я им говорю: так, значит, и будете с инвалидами и детьми грудными от Гитлера прятаться? А они мне: приказ! А я им: приказ, он не на трусов рассчитан!..

Он помолчал немного и, видя, что погруженный в раздумья Звягинцев никак не реагирует на его слова, сказал:

— Товарищ майор! А насчет десанта не выяснили? Тут некоторые из шоферов черт знает какие байки плетут! Всю Прибалтику, говорят, уже немец захватил... А я думаю, ладно, сороки, вот мой майор вернется, он мне все как есть скажет... Ну как, товарищ майор, был наш десант под Берлином?

И он на мгновение повернул к Звягинцеву свое молодое веснушчатое лицо. И тогда Звягинцев положил руку на его колено и сказал громко и зло:

— Не было десанта, боец! Не было. Но будет! Это не только я тебе говорю, это мне в Смольном сказали! Будут наши в Берлине! Понял? Будут!.. А теперь в штаб.

Он посмотрел на часы: шесть утра. Начинался четвертый день войны...

Конец первой книги.

Александр Борисович Чаковский

БЛОКАДА

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ Редактор Б. ФИЛЕВ

Художественный редактор *Г. Масляненко* Технический редактор *Л. Платонова*
Корректоры *Г. Асланянц* и *Н. Гористова*
Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 21/III 1969 г. Подписано к печати 13/V 1969 г. А06053. Формат 84×108¹/₁₆ — 4 печ. л. 6,72 усл. печ. л. 8,33 уч.-изд. л. Заказ 453 Тираж 2 600 000, 2-й завод 1 300 001—1 550 000 экз. Цена 17 коп.

Издательство „Художественная литература"
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного знамени Ленинградская типография № 1 „Печатный Двор" имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26
Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1, Кронверкская, 7
Отпечатано с готовых матриц в типографии им. Володарского Лениздата
Заказ № 661